

● **БЫЛОЕ И НЕДАВНЕЕ** —

новые повести Юрия Карабчиевского и Феликса Канделя

● **ЭТТИНГЕРОВСКИЕ ПРЕМИИ 1988 ГОДА** —

*размышления лауреатов: Александра Воронеля,
Юрия Ароновича и Иосифа Якерсона*

● **РУСОФОБИЯ ИЛИ АНТИСЕМИТИЗМ?** —

вместо комментариев к книге Игоря Шафаревича

● **В ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕВОДЧИКА** —

рассказ о тайнах переводческого ремесла

● **РОМАНЫ И ПОВЕСТИ АЛЕКСАНДРА ОКУНЯ** —

новое эссе Майи Каганской

64

22

МОСКВА - ПЕРУСАЛИМ

MI

№ 64

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издание общественно-культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями ссср
Лауреат премии Р. Н. Эттингер за 1984 год*

64

март-апрель 1989

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Л И Т Е Р А Т У Р А

- 3 *ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ*. Незабвенный Мишуня (повесть)
53 *ЕВГЕНИЙ КОЙФМАН*. Стихи
60 *ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ*. Охотник добежит до источника

Н О В Ы Й - Н О В Ы Й Р Е П А Т Р И А Н Т

- 101 *ИРИНА БАБИЧ*. "Транзит Тель-Авив"
105 *АЛЕКСЕЙ МАГАРИК*. "Знал, где взять миллион Остап Бендер..."
 (стихи)

И Е Р У С А Л И М С К И Е Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

- 106 Этингеровские премии 1988 года: *АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ*.
 "Мы мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем";
 ЮРИЙ АРОНОВИЧ. "Не забывать, кто мы"; *ИОСИФ ЯКЕРСОН*.
 "Жив Господь! Начнем..."

Р У С С К И Й В О П Р О С

- 125 *ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ*. Русофобия (окончание; начало см. "22",
 № 63)
149 Вместо комментария: *СЕРГЕЙ ЛЕЗОВ*. "Национализм как возмож-
 ная альтернатива официальной советской идеологии"; *БОРИС*
 КУШНЕР. "Открытое письмо академику Игорю Шафаревичу"

И С Т О Р И Я И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

- 165 *АРОН КАЦЕНЕЛЕНБОЙГЕН*. Антисемитизм и еврейское
 государство

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я Н А Д Т Е К С Т О М

- 189 *ЭРНСТ ЛЕВИН*. Из блокнотов переводчика
202 *ИННА ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ*. К 100-летию Анны Ахматовой: Ахматова
 и Шостакович (к характеристике жанра "Поэмы без героя")

В М А С Т Е Р С К О Й

- 209 *МАЙЯ КАГАНСКАЯ*. Романы и повести Александра Окуня

Л ю Д И И К Н И Г И

- 214 *ЯКОВ АШКЕНАЗИ*. Судный день, или догадайся, мол, сама
218 *МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ*. Заметки на полях

На последней странице обложки – Иосиф Якерсон. Кукла – модель персонажа картины

Она звонит мне в субботу вечером. Мне приятно слышать ее певучий голос, вполне еще, я бы сказал, молодой и только на самых спусках фраз срывающийся в старческое поскрипывание.

— Как ты завтра утром? Я не очень тебя отрываю? Ну вот, хорошо, спасибо. Мы не надолго. Ничего с собой не бери, я все привезу сама.

Утром мы встречаемся с ней у метро. Я приезжаю минут на десять раньше, но она уже там, сидит на лавочке, еще издали, из окна автобуса, я вижу ее сгорбленную фигуру в сером плаще и огромную сумку рядом. Она улыбается мне радостной, но и сдержанной, но и ущербной улыбкой (другой у нее не бывает с тех самых пор...). Я целую ее чистую мягкую щеку и сажусь рядом.

— Ты давно?

— Нет, полчаса, не больше. Отдохнула. Ты же знаешь, какой я ходок. Ну, так я лучше выйду пораньше, чтоб тебя не задерживать.

Мы немножко беседуем о том-о сем, и отвечая на каждый ее вопрос — как дети, как мама, как на работе, — я успеваю привычно удивиться ее ненавязчивости. Она действительно хочет знать, но никак

Юрий Карабчиевский

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ

(Повесть)

не станет влиять на мои ответы, а что я расскажу, на том и спасибо. И поэтому я говорю охотно, подробно, порой чересчур подробно.

— Ну-ну, слава Богу. Мы сначала побудем у дяди Мишуни, сделаем все, что сможем, потом ходим к бабушке, потом к бабушке, а к тете Полуне уже не пойдем, ты и так потеряешь много времени...

Вставая к автобусу, она с усилием расправляет спину, навсегда согнутую спонделезом, и идет торопливо, почти легко, а я удивляюсь тяжести сумки, просто чудо, как она ее несла.

В автобусе душно, полно народу, и потом, когда мы выходим, полегче, но тоже жарко. Я в одной рубашке, но весь в поту, а она ежится в своем плаще, застегивает его на последнюю пуговицу. Мы входим в ворота, сворачиваем направо и идем по дорожке между оградами, мимо серых, красных и черных камней с русскими и еврейскими буквами. Это новая территория, здесь все вперемешку. Как всегда, когда я попадаю на кладбище, начинается во мне эта внутренняя работа, новая тревожная жизнь. Здесь и особое странное чувство: смерть, ужас, тайна... И еще больше — необходимость особого чувства: вот оно, то самое, перед тобой, что же ты, давай, почувствуй, скорее, острее — смерть, ужас, тайну...

Это новая территория, деревьев здесь мало, редкие пятна тени манят, и притягивают, и легко, без задержки, почти не дав облегчения, выпускают нас дальше, в открытое пекло.

— Может, ты отдохнешь, — говорит она, — сумка такая тяжелая?

— Тебе была легкая?

— Ну, я привычная. И меня же везло метро...

Поворот, еще поворот, угловая ограда. Проволокой примотанная калитка, заросли трав и кустов, дешевый серый камень из мраморной крошки... И как я ни распарен и ни притуплен, а свежий такой холодок пронизывает меня от макушки до пят: я вижу с о ю могилу. На камне выбита моя фамилия, большими буквами, без единой ошибки, и я с запозданием, сначала естественным, а затем, через мгновение, уже нарочитым, сползаю взглядом на мелкие букочки имени-отчества и дальше, на годы жизни. Нет, там под камнем не я, там мой дядя, Мишуня — Михаил Моисеевич, как звали его ч у ж и е. Эта надпись выбита — для чужих... И еще для чужих — не для своих же: "Незабвенному мужу, отцу и бабушке". Кто это придумал? От жены, от дочери, от внучки. Не

от меня. Ну что ж, справедливо. Я и должен быть ото всех отдельно. И не потому, что я был ему дальше, это вряд ли, просто отдельно и все. Значит, дядя Мишуня там, под этим камнем, метра, наверное, полтора, и пятнадцать лет, так что там, под этим камнем? Гнилые доски, кости, остатки истлевшей одежды? Эти мысли не только ужасны, они и бесплодны, и я их с усилием от себя отвожу. А его жена, то есть вдова, стоит здесь рядом со мной, такая картинка, и ее плечи в скользком плаще “болонья” я обнимаю где-то внизу, потому что она опять забыла про свою осанку и расслабься, согнулась, как пружина, почти под прямым углом.

— Ладно, — говорю я, — тетя Женя, давай работать. А то еще дождь пойдет, вон как парит, ничего не успеем.

Две бутылки краски, кисти, совок, веник, лейку, садовые ножницы — все это мы достаем из сумки, и она еще далеко не пуста.

— Может, ты сначала покушаешь? У меня там курица, и рыбка, и пиво... Ну-ну, ладно, потом, потом.

Мы начинаем работать. Мы ходим к колонке, набираем воду, мы спокойно и деловито протираем ограду и камень, как протирали бы мебель, мы подвязываем кусты, пропальываем грядку, подстригаем ветки чужого, соседского тополя, слегка загораживающие наш памятник. Здесь, у нас, на крохотном квадратике — ботанический сад. Несметное множество различных трав, цветов и кустов, кажется, что все это растет не из земли, а друг над другом, в два или три этажа.

— Ужасно, — говорит она ворчливо, — как у меня здесь запущено! Каждый раз пытаюсь привести в порядок, и все не выходит. Вот это, мне сказали, красивые цветы, я вырвала анютины глазки, посадила их, а они так и не расцвели. А клубника немножко цвела, но ягод не будет, я уверена, потому что мешает вот этот куст, заслоняет солнце, и дождей же сколько времени не было, ну что я поливаю раз в неделю, разве это достаточно? Там у дедушки только одно дерево, зато подметешь — и чисто, аккуратненько, а здесь, у Мишуни, такой беспорядок, как ты считаешь?

Я никак не считаю, ничего не знаю, может, лучше, чтоб было густо, а может, чтоб чисто, кто поймет эту кладбищенскую эстетику?

— По-моему, — говорю я, — все хорошо. Только давай оборвем траву вдоль ограды, чтоб удобнее было красить.

Она с радостью хватается за эту траву — объективно нужное дело.

А потом мы с ней красим в две кисти, я снаружи, она внутри, и она работает быстрее и лучше. Работа нудная и кропотливая, мелкие чугунные завитки, попробуй, заполни их все без пропусков, чтобы пыльно-серое стало блестящим и черным. И халтурить — как-то душа не лежит, невозможно себе позволить. А солнце жарит, прожигает спину. Она сняла, наконец, свой плащ, осталась в синем сарафане и черной косынке.

— Ой, только бы не было дождя, пропадут все наши труды!

— Ничего, — говорю я, — это битум, сохнет моментально.

Я прохожу еще только три стороны, а она уже закончила и идет мне на помощь.

— Там, внутри, удобней, — оправдывается она, — не надо ходить, только поворачивайся.

А потом мы сидим на соседней чужой скамейке, я сдираю крышку бутылки об острие чужой ограды, пью пиво, посасываю рыбку. А она все поглядывает туда, к н а м, хозяйским нетерпеливым взглядом, и порывается встать, и снова садится.

— Все! — говорю я. — Дело сделано. Сегодня уже больше ничего нельзя. Вымажешься, да и краску сотрешь. Успокойся.

Она склоняет набок седую голову, виновато улыбается.

— Ничего получилось? А? Как ты считаешь?

— Хорошо, — говорю я. — Просто х о р о ш о!

И внутренне ежусь от этого слова, отнесенного, все-таки, как ни крути, — к могиле...

— А верхушки серебряным — это уже потом, как-нибудь я сама...

— Ну что ты, что ты, — вру я великодушно, допивая пиво, — зачем сама, через недельку подъедем...

Она снова улыбается своей узкой, стесненной улыбкой, она благодарна мне за намерение.

Небо, между тем, с удивительной скоростью заполняется серой массой, и когда мы доходим с ней до ворот, уже падают первые великанские капли.

Настоящий дождь застает нас в автобусе. Все вышло очень удачно.

— Неудачно вышло, — говорит она, будто мне отвечая, — вся наша работа насмарку.

— Да нет, — говорю я, — ничего подобного, это битум, сохнет моментально...

— И к дедушке не успели, как нехорошо, я и в прошлый раз не была... Может, заедешь ко мне? — спрашивает она безо всякой надежды. — Я сварила такой чудесный борщ, а есть некому, все мои на даче...

Отчего-то я вдруг соглашаюсь.

И вот мы сидим у нее на кухне, я — с огромной тарелкой борща, а она — с каким-то диетическим блюдцем из творога, и она наливает мне водки в высокую тонкую рюмку. Я хотел бы сказать ей что-нибудь, что бы ей понравилось, но только не знаю, что же именно, и скажу чужие, пустые слова, и может быть, так и надо... На губах ее улыбка, а в глазах слезы, она уже заранее предвидит мой тост и как бы произносит его вместе со мной.

— Ну, чтоб все его помнили!

— Пей на здоровье, сыночку. Кто его помнит?

— Как так? Ты его помнишь. Разве этого мало?

— Ах, я... Сколько уже мне осталось... И разве ему от этого легче? Ему все равно...

— Нет! — говорю я как можно веселее и тверже. — Абсолютно не все равно!

— Да что ты, милый, ты что, серьезно?

— Совершенно серьезно! Смерть — это ведь только начало. И сейчас даже самые крупные ученые... И в Америке...

Она ласково смотрит на меня сквозь слезы.

— И ты в это веришь?

— Конечно! — говорю я. — Безусловно, а как же! — и на миг чувствую уютную радость, как если бы действительно верил... — И мы нашей памятью ему помогаем, облегчаем его страдания т а м...

— Да? Ты тоже его иногда вспоминаешь? — Она смотрит мне прямо в глаза. — Ну, какой он был?

— Он был пьяница, бабник и пустозвон, и невысказанный эгоист и бездельник, и очень меня любил, и я его тоже, и я навсегда перед ним виноват, потому что любил его меньше, чем он меня...

Она не вскрикивает, не хватается за сердце, не закрывает в ужасе глаз, потому что я этого не говорю, я говорю другое:

— Очень часто его вспоминаю. Он был хороший. Если ты не возражаешь, я выпью еще одну.

Он был пьяница, бабник и пустозвон, и единственный отчетливый человек в нашем приглушенном, невнятном клане.

По праздникам, когда вся любвеобильная родня, поочередно лизнув и обозвав друг друга: Мишуна, Гришуна, Женюся, Кларуна — рассаживалась для доброжелательной трапезы, он один оставался белой, а вернее, рыжей вороной, центром маленькой опасности, горячей точкой стола. Рыжими, собственно, были только усы, небольшие, жестко-щетиновые, но и лицо его, даже чисто выбритое, всегда сохраняло оранжевый оттенок. Голову он тоже брил наголо, да и усы иногда с ним а л и тогда, как он сам говорил, на двадцать лет молодел, но сразу же принимался их снова отращивать, поглядывая в зеркало по нескольку раз на дню. Без усов он становился как бы наг и беспомощен и заметно иначе говорил и даже ходил, но продолжал их снимать время от времени. То была доступная перемена жизни, неопасная и обратимая, и она приятно его щекотала. Вообще всякая внешняя сторона имела для него огромное значение, и слово "красивый" не сходило с языка. Красивый дом, красивая свадьба, красивая женщина, красивая лошадь... (Лошадь в этом ряду не случайна, в молодости он обожал лошадей, был любителем верховой езды и владельцем к р а с и в о г о экипажа.) Пожалуй, он и сам был к р а с и в ы й мужчина, и главным выражением его лица, имевшего много различных выражений, оставалось суровое мужское достоинство. Внутренне именно эта черта была скорее стремлением, нежели качеством, поэтому на всем его поведении лежал налет пародийности, иногда более, иногда менее явный, но никогда не исчезающий полностью. Он легко принимал атмосферу игры и с неизменной серьезностью относился к любой своей роли. А различных ролей он сыграл множество: местечкового богача-гуляки, бедного бродяги на заработках, безотказного подхалима-чиновника, строгого начальника-бюрократа, бесправного пенсионера-сердечника; рыцаря и циника, вора и сыщика, отца и отчима; и, наконец, благочестивого и набожного еврея — и ясноглазого русака-черносотенца. Он везде играл, но нигде не притворялся, все эти склонности и характеры в нем как-то действительно уживались. Он не притворялся, он был слишком серьезен и поэтому никогда до конца серьезно не выглядел, а всегда вот с этим оттенком дурачества, который, по счастью, не все замечали. Это вовсе не значит, что он не шутил созна-

тельно, наоборот, шутил почти постоянно, не остроумно, но громко и радостно, и тут же сам смеялся до слез, беззвучно хрипя, гогоча и повизгивая. Но и слушателем был — благодарным, готовым, никогда не приглушал своей реакции, зато часто настолько перебирал, например, раздражался таким неумным ржаньем, что рассказчик просто терялся и не знал, куда себя деть, не в силах поверить, что его острота, такая на вид неприметная, вызвала всю эту бурю.

Он всегда был центром маленькой опасности на наших тусклых семейных сборищах. На какой-нибудь дежурный вопрос о давлении, который задавала ему, допустим, жена племянника, он отвечал серьезно, четко и ясно, тщательно выговаривая каждое слово и лишь краснея от распивавшего его смеха: “А это в зависимости от того, кто меряет. Если молоденькая и красивая, и есть за что подержаться, тогда не более, чем сто шестьдесят. Честное-мое-слово! А в обычный период времени — двести на сто. Так что, если ты мне желаешь здоровья, садись поближе...” И все аккуратно договорив до конца, тут же взрывался. Он смеялся один, остальные смущались — никогда они так и не устали смущаться — отворачивались, заговаривали о другом, а он еще долго не мог успокоиться, гоготал и вытирал кулаком слезы. Тетя Женя, сидевшая где-нибудь рядом, если не хлопотала на кухне, привычно ворчала: “Мишуня... не стыдно...” — но он ее так же привычно не слышал. А потом, выпив подряд три-четыре рюмки — “стопки”, как он всегда говорил, — вдруг подсаживался к какой-нибудь дальней родственнице, заботливо, по родственному ее обнимал, “какая ты сегодня у нас красивенькая”, и глядишь, просовывал ей руку под мышку. “Да что ты, да нет, да ты не бойся, да я уже никуда не гожусь, честное-мое-слово!...”

Своему брату, всегда прибеднявшемуся, всегда вкрадчиво и бесшумно и втайне от самого себя совершавшему аккуратные свои коммерции, он мог сказать при общем внимании: “Ну что, Гришуня, как на работе? — и дальше, предупреждая дежурный ответ. — Тысяч сто у тебя уже есть? Или больше?” И тот спотыкался на первом же слове и сокрушенно качал головой, и все снова смущались и отворачивались и переводили разговор на другое, и тетя Женя ворчала, одергивая.

Иногда, если были посторонние гости, садились играть в “пятьсот одно”. Он очень волновался, то краснел, то бледнел, и мухлевал явно, почти демонстративно, а уличенный, хохотал до стонов

и слез, и резко останавливаясь, переключаясь, вдруг обиженно говорил партнеру: "Все! Я с тобой не играю! Ты — Еврей. Ты Еврейский Еврей. А я с Евреями — не играю!" Причем произносил это слово отчетливо, с глубоким антисемитским "Е".

Он вообще говорил по-русски четко и ясно, с назойливой канцелярской правильностью, любил передразнивать картавую речь какой-нибудь провинциальной "яхны", и когда сам переходил на идиш, то это тоже выглядело, как передразнивание. А когда однажды в году, на пасху, он набрасывал талес, брал в руки тяжелую книгу и читал скороговоркой никому не понятный текст, то казалось, что это русский актер-неудачник в меру сил изображает еврея на молитве.

Дружил он обычно с милиционером или с каким-нибудь средней руки чиновником. То была осторожная, напряженная дружба, и он не обязательно в ней выгадывал, просто ему импонировала близость к власти. Каждая встреча кончалась пьянкой, почти каждая пьянка — сердечным приступом, когда он тяжело стонал и ругался и цедил сквозь зубы: "Кончено. Все. Умираю..." Тетя Женя, непрерывно и ровно ворча, стаскивала с него сапоги, снимала сталинский защитный френч и непременные галифе, так что он оставался в белых кальсонах, и с моей помощью укладывала его в постель. Затем, все так же ворча, вливала с ложечки капли. Ворчание было ее единственным правом в их многолетней семейной жизни.

Мне случалось бывать у него на службе, на некоторых из его многочисленных служб, всех этих ОРСов, УРСов, заготконтор и коопсоюзов. (Все названия учреждений, где он работал, были словно списаны со страниц "Крокодила".) Там он был всегда возбужден до крайности и так озабочен и деловит, как только могут прирожденные бездельники. Он считал на счетах, подписывал бумаги; перекладывал папки, листал календарь, отвечал одновременно сидевшим напротив и в трубку, зажатую между плечом и ухом... Да при том еще френч, галифе, сапоги, бритая голова и короткие усики — типовой бюрократ из фильмов тридцатых годов. "Нет, нет и еще раз нет! Ка-те-горически возражаю. Это не моя компетенция". С подчиненными он был сух, приветлив и вежлив, с начальством и женщинами — остроумен и прост, то есть шутил через правильные промежутки времени и ржал, гогоча, давась и повизгивая.

Он любил брать меня с собой на работу, после школы, а иногда и вместо школы. “Мой племянник, — говорил он секретарше. — Совершенно верно. Погибшего брата. Да, вылитый. А вы сегодня — просто на-ять! Мне бы скинуть полтора десятка... Честное-слово!.. Не горбись!” — и пропускал меня в дверь, вперед, и какое-то время, пока я стоял один в кабинете, он еще оставался в приемной, с лукавым удовольствием наблюдая за моей растерянностью. Впрочем, кабинеты с секретаршами бывали не часто, обычно же это была небольшая каморка, где вдвоем не уместиться, только столик и стул, и маленький сейф, и фанерная дверь с висячим замком — но всегда отдельное помещение, я не помню, чтобы он работал с кем-нибудь в общей комнате. Он запирали сейф, брал папку с бумагами, накидывал висячий замок, и мы отправлялись н а т е р р и т о р и ю, на какой-нибудь склад готовой продукции, или в пошивочную мастерскую, или в подвал овощехранилища. И опять он меня пропускал вперед и командовал издали: “Направо. Я сказал, направо. Где у тебя право? Не горбись... Здравствуйте. Что хорошего скажете?” Он произносил отчетливо “здрав...”, а не “здраст...”, как будто читал по складам.

Он был бедным человеком — вот что странно. Он работал порой и на теплых, и на хлебных местах, но как-то ухитрился ничего не скопить, не потому, конечно, что был по-дубовому честен, а потому что боялся и не умел. Со всех многочисленных своих должностей, от начальника отдела до кладовщика, он уходил с выплатой недостающего, не того, что присвоил, а того, что прошляпил.

Объективный его портрет совпадает с любой его фотографией. Бритый череп; лицо прямоугольное, твердое, щеки слегка раздуты; глаза светлые, нос не длинный, но крупный; подбородок заострен и хоть и резко очерчен, но слишком мал, чтобы принадлежать человеку поступка. Жаль, не осталось цветной фотографии, хотя боюсь, что оранжевое свечение, так явственно, вроде бы, от него исходившее, становилось заметным лишь на фоне окружающей серости...

И вот, на протяжении многих лет этот человек и никто другой был мне добрым отцом, и заботливым приятелем, и отважным защитником и избавителем.

3.

Вся моя память о наших с ним отношениях — это цепь подар-

ков, сюрпризов и праздников. И первый, и может быть, главный из них — праздник избавления от театра.

В сорок третьем году в тыловом Челябинске, вскоре после известия о гибели отца (быть может, через год, но так уж мне чудится: вскоре...) главным предметом моей ненависти сделался театр оперетты. Я боялся его и ненавидел больше, чем немцев, которые были все же отвлеченным понятием, хотя и сделали что-то плохое отцу, которого я и вовсе не помнил; больше, чем группу в детском саду, где все же имелись какие-то игры и была одна сердобольная воспитательница, не заставлявшая доедать до конца ту бурду, что выплескивали в тарелки огромным половником из огромной и страшной кастрюли.

Два раза в неделю театр оперетты становился моей многочасовой тюрьмой, веселым и шумным пытчиком и издевателем. За мной в сад тогда заходила не мама, а тетя Вера, ее подруга, добрая, как теперь я думаю, женщина, но тогда страшившая меня безумно — вечной улыбкой и мягким и ровным голосом. Она брала меня за потную дрожащую руку и вела через дорогу, мимо яркого подъезда, и за угол, и в темный служебный вход, и какими-то крутыми лестницами, выше и выше, и в маленькую дверцу, ведущую не в комнату, а в огромное, красное, пустое пространство, обрывавшееся круто и далеко вниз из-под узкого и ненадежного барьерчика. Здесь стояло несколько кресел вплотную друг к другу, и на одном уже лежала подушечка, чтоб повыше, на него меня и сажали. Здесь я должен был жить один все то время, пока зал внизу заполнялся людьми, и потом, когда там грохотала музыка, и дальше, когда на сцене кривлялись и прыгали, и до самого конца, до которого я никогда не дотягивал, а мучительно просыпался, весь в слезах, от аккуратных маминых поцелуев.

Артисты театра были нашими знакомыми, мы с ними дружили. Одного я помню довольно отчетливо. На сцене он чаще всего гонялся за теткой с розовым зонтиком (одна из многих театральных нелепостей: зачем зонтик, дождя-то не было?..), она же бежала очень медленно, какими-то дурацкими мелкими шажками, и он, конечно, ее догонял, почему-то, правда, всегда у самого края сцены, и догнав, не хватал ее и не салил, а ловко становился на одно колено, прямо в чистых голубых полосатых штанах (вообще одет он был идиотски), одну маленькую ручку прижимал к груди, а другой обводил вокруг себя и громко и противно орал:

Лишь! О! Те! Бэ-э!
Мои мечты!
И в моем сердце
Царишь только ты.
Моей любви не отвергай!
И насладиться счастьем дай!

В жизни он тоже был очень странный, ходил с тонкой загнутой тросточкой, и сначала не был нашим близким знакомым, а потом, когда мы с ним подружились, то я перестал его видеть на сцене, то есть, как я теперь понимаю, перестал попадать на те вечера, когда он был занят на сцене...

Но в тот, последний мой вечер в театре я вижу только дядю Мишуню, все остальное уже не имеет значения. В этот раз на сцене было много народу, какие-то резкие, лимонные женщины и в двухцветных, сине-оранжевых штанах, как бы хромые, мужчины. Вся эта масса переливалась справа налево, оставляя полсцены пустой, а затем, в такт грохочущей музыке — обратно, слева направо. Эти волны колыхались у меня в глазах, уже застланных слезами тоски и усталости, как вдруг сзади хлопнула дверь, и молча, багровеющий от напряжения, рядом со мной уселся Мишуня, мой любимый дядька, родной человек. Так он сидел какое-то время, как бы вовсе не глядя на меня, только чуть кося, и я тоже молчал, оцепенев от радости. А потом он прорвался, взорвался хохотом, и стал меня мять, целовать и тискать, и унес на руках из этого паскудного места, и больше я сюда никогда не возвращался.

Перемена в моей жизни произошла решающая. Те дни, когда за мной приходила не мама, раньше были моими казнями, а теперь стали моими праздниками. Он входил в раздевалку, громко и четко ступая, весь крупный, резкий, шумный, напряженный, “Здравствуйте!” — громко говорил воспитательнице, обнимал, целовал меня, укалывая усами и, обдирая наждаком щеки, приказывал приглушенным носовым голосом: “Быстро одевайся!” — и при этом заговорщицки косил глазами, и опять разгибался к воспитательнице: “Пр-рошу пр-рошенья! К вам у меня будет серьезный вопрос. Как — мальчик — ест?” И внимательно выслушав, брал ее за локоть: “Оч-чень вам благодарен!” И улавливал момент, когда она смущалась, и вставлял одну из своих пяти острот, багровея, и сдерживаясь, и прорываясь, и она хихикала и мягчала, и вообще становилась такой, какой никогда не бывала...

Мы ехали с ним на трамвае, не помню, долго ли, коротко ли,

и квартиры, где они жили, тоже не помню, а только — тепло и спокойную радость. Тусклый мягкий свет, уютный керосиновый дым; тетя Женя, нежно дующая на блинчик перед тем, как сунуть его мне в рот; мучная затируха в фарфоровой миске, кислая капуста с подсолнечным маслом; и снова Мишуня — пропускающий стопку и торопливо и весело хрустящий луком. “Нет, что ты, Женюся, по единой — и стоп! Будешь меня просить — не стану”.

Еда была, безусловно, центральным занятием, и в главном центре этого центра помещалась, конечно же, консервная банка волшебного лилово-синего цвета, овальная, с припаянным сбоку ключиком. Мне разрешалось осторожно повернуть этот ключик, наворачивая на него жестяную ленточку до тех пор, пока хватало моих сил, дальше доворачивал дядя Мишуня. Сказочный, ни с чем не сравнимый запах выбивался из-под острого, опасного края: американский колбасный фарш... (Смешно, но именно эта гармония: запах, и вкус, и цвет этикетки, и форма банки — как казалась, так и оказалась потом высшей точкой наслаждений для всего моего поколения, той физически ощутимой вершиной счастья, до которой нам больше уже никогда не добраться...)

Иногда заходила Дина-Динуся, моя кузина, их взрослая дочь. Динуся жила отдельно, с мужем, а сюда приходила, чтобы есть блины, читать письма с фронта и плакать. Но прежде, чем начать есть и читать, она, еще не снимая пальто, хватала меня, кружила по комнате, смачно целовала в обе щеки и одаривала чем-нибудь, не столь замечательным, но тоже достаточно интересным: куском развесного горького шоколада или горстью цветных шершавых “подушечек”. О муже ее говорили “бронь”, “инженер” и “побольше бы такие гоев”, но при мне он пришел всего однажды. Был он крупный, скуластый, чужой, в очках и, обращаясь ко мне, говорил: “крестьянин”. “Ну как, крестьянин, ну что ж ты, крестьянин, эх ты, а еще крестьянин!..” Динуся в тот раз писем не читала, хотя блинчики ела. Тетя Женя хлопотала вокруг, не присаживаясь, а дядя Мишуня пил по единой с динусиным мужем, багровел и хихикал, нервно стучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака, или вдруг распластывал ладонь на столе в напряженном покое — и вел чужой, несемейный разговор. “По части качества — не компетентен, но по части стоимости — не могу согласиться...” И таким же я его видел потом, в Москве, когда он пил с милиционерами.

По утрам, пока мы собирались и завтракали, тетя Женя что-то быстро ворчала по-еврейски, он отвечал ей коротко и брезгливо — всегда разговаривал по-еврейски с легкой брезгливостью — и заключал: “Говорю тебе, смешной ты человек, я не против, только нервируем мальчика. Но она на это никогда не пойдет, и будет большая обида...”

И сначала вернулась в Москву тетя Женя, с Динусей и динусиным мужем, а он остался. Я не помню прощанья, быть может, его и не было, но однажды вечером мы приехали с ним, как обычно, вошли в их комнату — а там никого. Он возился с керосинкой, обжигал руки, матерился, то и дело подходил к буфету, наливал себе стопку, хрустел луком. Предлагал и мне — луку и хлеба: “Закуси, почувствуешь себя мужиком...”

А еще через несколько дней уехал и он. Не прощаясь, уж это я точно помню. Не пришел за мной, вот и все. Оказалось — уехал.

Не стало в городе дяди Мишуни, и жизни не стало. Провал, серая пустота, детский сад, тусклые вечера дома. Какие-то неудобные, ненадежные гости, разговоры и смех как будто сквозь сон. Низкорослый летчик дядя Костя, сперва поразивший мое воображение тем, что летчик, но вскоре разочаровавший полностью, так что я и верить перестал, что летчик, и решил, что пропеллеры у него на погонах — просто так, как у некоторых мальчишек: нашел, прицепил... Потому что оказался он однообразен и глуп. “Дядя Костя, — спрашивал я, — а самолет, он какой?” — “Смотря какой самолет”, — отвечал дядя Костя. “Ну, а пушка, — спрашивал я, — а она какая?” — “Смотря какая пушка”, — отвечал дядя Костя...

Так тянулись месяцы... И вдруг... С ним все было вдруг.

Страшный, заросший длинной щетиной, так что усы и не выделялись, с воспаленными, красными глазами... Вошел в комнату, на мгновение молча застыл у двери, потом схватил меня, поднял на руки и крепко-крепко прижал к себе.

— Ну вот, — бормотал он сквозь смех и слезы, — ну вот, ну вот, чудной ты парень! А ты боялся... А ты боялся... А ты боялся...

Потом отпустил меня, обнял маму.

— Выпить нет у тебя? Ну, давай чаю. Съем быка. А может, найдешь? Ну зайди к соседям.

И уже за стойкой, все-таки кто-то нашедшейся, прожевав, проглотив (никогда не разговаривал с наполненным ртом) :

— Не поверишь, еду уже неделю. Прямого билета не было, взял до Самары. А там — тысяча и одна ночь. Битых трое суток сидел

на вокзале. Еще великое счастье — один, без вещей. Люди падали, теряли сознание. Не поесть, не помыться. В уборную очередь. В кассу, к начальнику — смертоубийство. Не знаю, как у меня сердце выдержало. Ну, это уже все позади. Готовь мальчика, время не ждет. Не позднее, чем завтра, мы отбываем.

Мама слушала, курила, качала головой:

— Неужели специально за ним приехал?

— А то как же? Ну, еще — на тебя поглядеть. Ты такая у нас красивая — все отдать и мало...

Он привез мне удивительный, чудесный гостинец — настоящее печенье фабричной выпечки, в аккуратной целлофановой упаковке. Я долго этим печеньем играл, складывал в домики и колодцы, все никак не решался сломать, откусить. Было оно похоже на то, каким в сказке Пушкина угощалась сварливая старуха, когда стала царицей. Там, правда сказано было “пряник”, но нарисовано уж точно вот это печенье. До сих пор, когда слышу или читаю: “заедает она пряником печатным” — вспоминаю тот самый дядькин подарок: бледно-розовый целлофан, разрывавшийся мягко, почти съедобно, и под ним — две колонки почти несъедобных квадратов, с выпуклым, шершавым и хрупким узором...

4.

В то время носильщики были носильщиками, а не возильщиками, как теперь. Никаких тележек, только руки и плечи. Носильщик связывал широким ремнем, снятым прямо тут же с пояса, два тюка или чемодана, вешал их себе на плечо, еще два предмета прихватывал в руки — это был предел его грузоподъемности. Наш носильщик, седой, сутулый мужик в армейской фуражке, был как раз на таком пределе. Он уже достиг середины толпы, половины пути до двери вагона, когда его сбили с ног и стали затапывать. Дядя Мишуня ждал его в тамбуре, выглядывал из-за чужих плеч и голов, мы с мамой стояли в стороне на платформе. Носильщик нам не был виден, только Мишуня — его огромный, раскрытый в крике рот и перекошенное, как бы сморщившееся лицо. Рев толпы никак не обозначил падения носильщика, оставался таким же ровным, с редкими всплесками, и мишунин крик был беззвучен на этом фоне. Но зато мамин истощенный вопль был услышан не только мною. Подбежала молоденькая милиционерша, спросила, поднесла ко рту свисток, подош-

ла вторая, постарше, спросила, тоже поднесла ко рту свисток. И еще подбежали два или три носильщика, и все они бросились на толпу, свистя, вопя, колошматя кулаками куда попало... Наш носильщик лежал ничком, подвернув руки, наши ободранные чемоданы обжимали ремнем его плечи, один чемодан был у него под грудью, другой свешивался со спины. Один из узлов, неузнаваемо грязный, изодранный и истоптанный, валялся поодаль, второго узла вообще не было.

Носильщика унесли на носилках, чемоданы и узел дядя Мишуня поочередно втащил в вагон, и сразу же толпа с отчаянным ревом бросилась вновь заполнять законное свое пространство.

Мама металась со мной по платформе, и как бы в ответ в окнах вагона метался бритоголовый мой дядька. Наконец, чьи-то большие руки цепко и грубо схватили меня и подняли. Я заорал, но в следующий момент уже упирался животом и руками в остроугольную деревянную раму, а в следующий — сидел на верхней полке на вдвое сложенном мишунинном черном пальто. Он обнял меня, прижал к себе, дернул плохо выбритой жесткой щечкой, обдал знакомым запахом водки и лука, отодвинулся, вынул чистый платок, и хотя он был сам в поту и слезах, стал вытирать не себя, а меня: глаза, щеки, шею, нос...

— Не нервничай, — сказал он, кусая губы. — Ты, главное, только не нервничай. Держись, казак, атаманом будешь. Понял меня? Ну то-то...

На этой полке, на этом пальто я и валялся четверо суток, и четверо суток внизу подо мной, тесно зажатый соседями, сидел и кемарил дядя Мишуня. Ночью я падал ему на голову, днем канючил и рвался к маме, и то непрерывно просил еды, то блевал в подставленное им полотенце, от всего отказывался и лежал неподвижно лицом к стене. Он уже тогда был больным человеком, от того его и не взяли на фронт. (Разумеется, он туда никогда и не рвался.) “Грудная жаба” — два этих загадочных слова как бы вечно витали вокруг него, были как бы приставкой к его имени и присказкой к разговору о нем. И если бы он умер в конце концов от сердечного приступа, я бы мог считать, что внес посильную лепту, что и этот груз — на моей совести, пусть хоть и совсем небольшой своей частью (кто знает, какой?..). Но умер он от другого.

Москва для меня оказалась поселком, пригородом, почти деревней, с заборами, огородами, собаками на цепи и даже коровами. По этой, нашей Москве ходили пешком или ездили на санях и телегах. Там всегда стучали молотки-топоры и зудели и визжали пилы.

Молоток, топор, пила — и дядя Мишуня... Это единство всегда со мной, всю мою жизнь, и всегда так будет, да сколько уж там осталось... Плотницкий инструмент в моей руке — это значит, что и он где-то тут, непременно рядом. Так уж мне суждено, что работа с деревом для меня всегда — спиритический сеанс, и не было случая — поверьте, ни одного! — когда бы простой молоток, обхват его рукоятки, не вызвал из небытия этот голос, скрипучий, насмешливый, назидательный. Этот голос звучал надо мной постоянно, он командовал, он направлял, поучал, он журил, одергивал и ставил на вид — и он никогда, ни в какой момент не бывал мне в тягость. Это странно, в это просто невозможно поверить, в чем тут дело? — спрашиваю я себя, и не знаю, не нахожу ответа. Все его фельдфебельские уроки жизни вспоминаю я не только без всякой досады, я вспоминаю их с наслаждением. И совсем не потому, что, повзрослевший и умный, я теперь понимаю пользу и смысл муштры. Я и теперь не понимаю ни смысла, ни пользы, но его муштру, его наставления я и тогда принимал с радостью.

— УбЕри голову. Дальше руку. Ближе к концу. Гляди на шляпку... — Новый гвоздь любой толщины и длины он вбивал в доску за три-четыре удара. Старый — неровный, кое-как подправленный, лез под его молотком, будто кто-то втягивал его изнутри.

— Легче, легче! БЕЗ усилий! НЕ напрягайся! Не ты пилишь — пила пилит... — Казалось, и впрямь, отдерни он руку, и пила будет продолжать пилить, так же весело и легко, по щучьему велению.

И вот, при таком мастерстве и такой виртуозной легкости, он ни разу ничего сложнее забора не выстроил, да и забора не выстроил целиком, разве только кусок: перекладину, несколько досточек... Было бы проще всего сказать, что он не умел ничего заканчивать, но это бы не вполне отвечало истине. Как раз завершить, подправить, докончить — это он мог и даже любил. Не любил же он с е р е д и н ы работы, то есть главного, полного ее разворота,

где надо было учитывать все элементы, совершать однообразные повторные действия и, главное, держать в уме результат. И поэтому все, что действительно делалось: сарай, сортир, покрытие крыши, пристройка террасы — было сделано не его руками, а руками нанятых мастеров, которым он всегда хорошо помогал, но только в начале или в конце.

Он умел и любил играть в работу, работать он не любил, не умел. Плотник Саня, флегматичный, степенный мужик того же возраста, что и дядя Мишуня, часто выполнявший наши заказы, все никак не мог привыкнуть к его манере.

— Ты Еврей! — вдруг говорил ему дядька, неожиданно появляясь рядом. Саня цепенел и смотрел на него ошалело. — Ты Еврейский Еврей, сразу видать по работе. Разве русские так работают, мать честная! Давай покажу. Разметил? Здесь? Ну, гляди...

И в несколько легких, веселых движений отпиливал, как ножом срезал, аккуратный, ровный кусок доски.

— Гвозди, Еврей, забивать умеешь? — спрашивал дядя Мишуня и всхлипывал: он уже был на грани взрыва.

Он хватал гвоздь, приставлял, наживлял, вклепывал его тремя лихими ударами — и сразу, освободившись, прорывался визгливым и лающим хохотом. Саня стоял, улыбался смущенно, ждал, когда ему отдадут молоток. Дядька забивал еще один гвоздь, хлопал Саню по плечу и говорил, повизгивая от остатков внутреннего, укрощенного смеха:

— Красиво? Ну то-то. Ничего, нэ журись. Москва тоже не сразу строилась. Давай веселее!

И уходил на другой конец двора — копать ямку под какой-нибудь столбик, который будет вкапывать тот же Саня, разумеется, сперва доведя ее до нужных размеров...

Все свободное время он ходил по двору в сопровождении пушистой, пятнистой Джульбы, которую чудом во время войны сохранила нам добрая соседка-молочница, ходил и неумоимо играл в хозяйство: что-то отрывал, что-то приколачивал, выкапывал, вкапывал, переносил. Всякие монотонные, однообразные движения приводили его в неистовство, вызывали неизбежный сердечный приступ. К примеру, та же пила, любимый его инструмент. Он прекрасно знал все приемы разводки и точки, но ни разу не развел и не наточил. Вот он брал в руки двуручную пилу, которой мы обычно пилили дрова, осматривал зубья, качал головой:

— Трясця вашей матери! Никуда не годится. Надо точить. Надо точить. Надо точить.

И аккуратно откладывал ее в сторону, как бы для точки. На завтра мы пилили с ним той же пилой, он ругался, осматривал и снова откладывал. Так повторялось по многу раз. Наконец, он решался, надевал очки, отыскивал треугольный напильник, громко топая, заносил пилу в комнату ("в горницу", как он говорил) шумно и подробно снимал со стола клеенку.

— Боже мой, что ты уже придумал? — ужасалась тетя Женя. Это что, обязательно делать в доме, в сарае нельзя, тебе мало места?

— Не нервничай, Женюся, я тебе все объясню. Нужен! Ровный! Стол!

— Так что, верстак уже не годится? Тебе же Саня специально сделал верстак, ты заплатил ему кучу денег...

— Па-вторяю. Нужен-ровный-стол! А ГЛЭЙХЕР ТЫШ. Ясно? Или не ясно?

Она качала головой, вытирала слезы и уходила на кухню.

Он очень серьезно и обстоятельно прилаживал пилу к краю стола, заставлял меня держать то с одной, то с другой стороны, затем, наконец, проводил напильником по первому, по второму зубу, останавливался, окидывал взглядом весь бесконечный их ряд, хватался за сердце и топал к буфету: принимать рюмку капель Зеленина и стопку лимонной водки.

Затем — не сразу, не в этот день, а попозже, дня через два, через три — я относил пилу в мастерскую Сане, а наточенную Саня уже сам приносил обратно. Дядя Мишуня ее строго осматривал, чуть не каждый зуб пробовал пальцем, впечатление было, что он недоволен и сейчас непременно вернет обратно. Но это он просто играл в инспекцию, тут же хлопал Саню по плечу, жал ему руку, говорил:

— Цены тебе нет. Орел! На-ять, честное-мое-слово.

И тащил его в горницу — отметить событие...

Пилка дров была едва ли не единственной работой, которую он не любил, но делал. Мы с ним долго к этому морально готовились и решались лишь при крайней необходимости, когда дров оставалось на сутки-двое, и тетя Женя, уже ворча, надевала ватник. Он обнимал ее, целовал, снимал с нее ватник, надевал его сам и показывал мне головой и руками, что мол все, надо, ничего не поделаешь. Мы долго ставили козлы, правее, левее, долго выбирали первое бревно, тщательно сбивали снег, укладывали. Первый над-

пил он делал один, без моей помощи, направляя пилу отогнутым пальцем левой руки.

— Давай! — говорил он строго. — Не дергай. Не спеши. Не толкай. Не жми. Тяни. Запомни: пила пилит сама!..

Пила пилила сама, но рука уставала, и, кончая очередной бревен, страшно было подумать, что сейчас же, немедленно придется все начинать сначала. Он чувствовал мою усталость, да и сам уставал, а верней, ему просто надоедало, и он устраивал деловой перерыв; переходя от скучного дела — к веселому, к одной из своих любимых хозяйственных игр.

— Стоп! — говорил он. — Сейчас ты мне будешь нужен. Повернись к забору. Стоп. Иди. Вперед. Еще. Еще. Стоп. Сможешь влезть? Сможешь! Давай подсажу. Ногу ставь на перекладину. Теперь вгору. Держишься? Крепко? Смотри, отпускаю. Теперь рассказывай, что ты видишь.

За глухим высоким забором был ЖКО — жилищно-коммунальный отдел, как теперь я думаю. Стоя на перекладине, я видел закрытый двор, обитый железом сарай с огромным замком, несколько пар саней, кучи бревен и досок и еще множество разных предметов, засыпанных снегом.

— Доска, — строго приказывал он, — погляди, какая доска.

— Да тут не одна, тут разные доски, большие, маленькие...

— Чудной ты человек. Вот я и спрашиваю: какая доска?

— Ну, разная... доска. Я тебе же сказал.

— Горбыль или тес?

— Не знаю, не видно отсюда.

— Прыгай.

— Что?!

— Пав-торяю. Прыгай. Не нервничай, не ударишься. Под мою ответственность.

Я, конечно, не прыгал, а слезал понемногу, цепляясь руками, упирался коленями и сползал в глубокий снег на той стороне. Меня сразу же охватывало странное, неуютное, тревожное, но и сладкое чувство чужой территории. Даже небо, казалось, здесь было иным — холоднее, темнее, и от каждой точки пространства, от любого предмета исходила неведомая мне опасность. Джульба как бы чувствовала мое состояние и начинала подвывать и легонько потягивать.

— Молчи, дуреха! — сипел ей дядя Мишуня.

Я выбирал доски поменьше, полегче, отдирали их, смерзшиеся,

друг от друга и волок по одной к забору, из-за которого он командовал едким шепотом:

— Поднимай! Вертикально. Одним концом. Что значит вертикально? Так. Поднимай...

Иногда я думаю... Явно несправедливая, но навязчивая и как бы правдоподобная мысль... Он был так ко мне поминутно привязан... Не оттого ли, в частности, что я оставался единственным безотказным его подчиненным? Он ведь был чиновником, по природной склонности, даже целым учреждением в миниатюре, и порой мне странно, что он так и не сросся со всеобщей конторской машиной, не добрался даже до средних рангов и пенсий, а при каждой попытке вылетал в сторону, и так в конце концов в стороне и остался. Видимо, он и в чиновники играл, как в солдатики, а вокруг-то все были совсем иные, взаврадошные и страшно серьезные люди...

Он был хорош с этими своими командами: в галифе, в коротких обрезанных валенках — “чоботах”, в телогрейке с широким армейским ремнем и в каракулевым треухе с кожаным верхом. То и дело он снимал одну рукавицу, высмаркивался в снег, вытирал ладонью усы. В кармане у него, я знал, всегда был чистый носовой платок, но он берег его для других случаев, для предствительства и выхода в свет...

Выход в свет мог быть выходом на работу, или поездкой в командировку, или посещением поликлиники.

В поликлинику мы ходили довольно часто, то я с ним, то он со мной. Детская и взрослая располагались вместе, в одноэтажном доме барачного типа, в небольшом палисадничке, как бы скверике, с деревянными скамьями, гипсовыми пионерами и черным крашеным взрослым Лениным в детский рост.

Там внутри он сразу весь напрягался и дежурный комплимент пожилой регистраторше: “А вы все молодеете, хорошеете...” — выжимал из себя, как урок, с заметным усилием. Он здоровался с очередью, садился жестко и прямо, покашливал, сжимал и разжимал кулаки, выстреливая напряженными пальцами, и со мной разговаривал гнусавым шепотом, опасливо косясь куда-то в сторону, на одной назойливой интонации.

— Не горбись. Платок. Возьми платок. Повернись налево. Где

у тебя лево. Сядь на стул. Встань. Подойди. Почитай, что написано, потом расскажешь.

Я брал платок, поворачивался, садился, вставал, шел читать, что написано. Написано было — и нарисовано — на цветных стеклянных диапозитивах, вставленных в деревянную этажерку, вращающуюся, с лампой внутри. Включаешь свет, смотришь рисунки, прочитываешь, что написано, сверху вниз, поворачиваешь и читаешь дальше. Такие штуки и сейчас еще висят кое-где в поликлиниках, их идея оказалась столь же устойчивой, как форма градусников или цвет больничных листов.

Жили-были Мик и Мак,

Славные братишки.

Кто такие Мик и Мак?

— Плюшевые мишки.

Два плюшевых медвежонка, один хороший, послушный и потому здоровый и бодрый, другой — капризный, непослушный — больной.

Мак не слушался врача —

Вот и тает, как свеча!

Я расстраивался и переходил к другой этажерке, где было показано, как надо мыть фрукты, чтобы остаться в живых после того, как их съешь. Красные яблоки, желтые груши, клубника, вишня и еще ви-но-град — тоже ягоды вроде вишни, то только кучкой, по многу вместе и синеватые, продолговатые, со сладким соком внутри под названием "вино"... Странно, все светящиеся эти картинки вызывали не аппетит, а скорей тошноту и какое-то унылое, болезненное чувство. Оттого ли, что была вокруг поликлиника, запах йода и камфоры, топот сестринских ног, или, может, само стеклянное это свечение, исходившее от самых различных предметов, которые по природе своей не должны бы светиться?.. Я этого так до конца и не понял, а пытался понять не раз, потому что и всегда потом, и сейчас, с тем же болезненным тошноватым привкусом воспринимаю любой освещенный изнутри диафильм, не имеет значения, на какую тему и где он висит: на промышленной выставке, в медицинском НИИ, в овощном магазине... И такое же болезненное, саднящее чувство вызывает у меня иногда цветной телевизор.

— Встань, походи-подыши-свежим-воздухом!

Я шел на улицу, дышал, проходил по скверу. Ленина осторожно обходил стороной — он пугал меня глянцевой своей чернотой,

а еще больше своими размерами, напоминая злого карлика из арабских сказок. (Спешу оговориться, что дело не в Ленине, а в свойстве самой скульптуры. Через несколько лет в пионерском лагере я наткнулся на точно такого же Пушкина, тоже черного и ростом с семилетнего мальчика — и точно так же его испугался, хотя, конечно, сегодня мне ясно, что черный Пушкин — это все же нечто более естественное и менее страшное.) Возвращался я в коридор-ожидальню усталый, раздраженный, с одним желанием: поскорее домой. Дядя Мишуня уже был в кабинете и даже уже стоял у двери, готовясь выйти: было слышно, как он время от времени угодливо хохотал-грохотал в ответ на неслышные врачихины шутки-напутствия. Затем вдруг резко распахивалась дверь — вся очередь дожидалась этого момента, но он оказывался всегда неожиданным — и дядька мой вылетал ко мне, гогоча по инерции, стремительно, в полувоенном френче, в галифе и вычищенных сапогах, вытирая потное, красное лицо чистым носовым платком и бережно неся двумя пальцами свеженький голубой бюллетень...

6.

Нижние доски, не такие смерзшиеся, поддавались гораздо легче, и фонарь на столбе, похожий на репродуктор, не пугал уже скрипом и движеньем теней, я привыкал, входил в азарт — и тут он как раз говорил:

— Молодец. Довольно!

Я возмущался:

— Ты что! Ну вот эти две? Увидишь, какие хорошие, длинные...

— Я сказал: довольно. Положи обратно. Ровней, ровней...

Я был ему невидим из-за забора, но он как бы чувствовал каждое мое движение.

— Ровней, как было. Присыпь снегом. Немного, до утра еще будет сыпать, занесет как положено. Готово? Теперь осмотришь, поищи ящик. Там должен быть ящик, рядом с тобой.

— Чего, зачем?

— Не понял? Я сказал: поищи ящик. Не крути головой во все стороны. Сначала погляди направо. Внимательно. Потом налево...

Я действительно находил ящик, приставлял к забору, а уже его убеленный снегом трехпокачивался над тупыми скосами досок, и еще несколько несложных команд и нетрудных усилий — и вот уже крепкие надежные руки опускают меня на родную землю...

Новых, м о и х досок нигде не было видно, я растерянно озирался вокруг, а он хохотал, довольный:

— А-а! Не можешь найти? Ну вот то-то! И никто не найдет! И никто не найдет! И никто не найдет. Ну, еще попробуй, посмотрим, какой ты сыщик. А? Что? Что — как, как! Ловкость рук и никакого мошенства. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ищи! Ищи!..

И снимал рукавицу и вытирал счастливые слезы.

Разгадку он оставлял для меня на завтра, когда оказывалось, что только что добытые доски аккуратно сложены под старыми, нашими — тоже украденными в свое время, но настолько давно, что как бы уже не представляли опасности...

Мы возвращались к козлам воодушевленные, пилили весело и легко, и я без конца обсуждал операцию, а он, тоже довольный успехом, а еще больше — моим удовольствием, сохранял то, что должно было быть солидностью, и только время от времени гмыкал и сдерживал себя, влажно поддакивал:

— Да-да!.. Д-да!.. Н-ну?.. Д-да!..

В следующий перерыв он колол, а я отдыхал. Он колол лихо, с уханьем, с кряканьем, и мне очень нравилось это зрелище, и ему было важно, чтобы мне нравилось. Он всегда старался расколоть полено с одного удара, а если не выходило, то непременно оправдывался:

— Сучковатое. Видишь? Вот и вот. А это, брат, уже нешутейное дело, тут просто так, по-дурацки, не выйдет, тут надо с умом. Надо с умом. Поищи-ка клин!

Я искал клин, он вбивал, раскалывал, и с важностью показывал мне разрубы сучков, и опять радовался... Опять радовался.

Потом мы относили дрова к поленнице, и он набирал на левую руку огромную кучу, и просил меня подложить еще, и правой успевал подхватить соскользнувшие, и казалось, теперь не донесет ни за что, но он доносил и сразу начинал укладывать, на меня не глядя, лишь спиной воспринимая мое восхищение...

— Все! — говорил он. — Все! Баста! По сто пятьдесят мы сегодня с тобой заработали.

И уже открыв дверь на веранду, через которую мы проходили в дом, вдруг останавливался и взглядывал мне в глаза.

— Устал?

— Н-нет.

— Замерз?

— Да нет...

— Говори честно. Точно нет? Тогда у меня будет к тебе серьезное дело. Не надолго, не бойся. Четыре минуты — и с плеч долой. Подожди меня здесь.

Тяжелая дверь, отделявшая дом от веранды, обитая синей протертой клеенкой с трещинами и клочьями серой ваты, закрывалась за ним, как казалось, плотно и глухо, но уже через минуту широко распахивалась, и большая раскрытая бочка с кислой капустой выезжала вперед и вздыбливалась над невысоким порогом. Он был уже без шапки и телогрейки, в одном своем старом рабочем френче, склонялся над бочкой, окутанный белым, желтеющим паром, и зыбкий свет отражался в его влажной оранжевой лысине. Из глубины, из заоблачного пространства, доносилось ворчание тети Жени: “Напустишь холода... Мишуня... Какой ты!..” И он, поудобней пристраивая руки, отвечал:

— Ничего, Женюся, не нервничай. Это быстро, это один момент, сейчас, мальчик мне тут поможет...

И мне, вперед, не глядя, другим голосом:

— Не подходи! Когда будешь нужен — я скажу. Стой, жди приказаний!

Крякнув, он переваливал бочку через порог и с разбегу, наклонив, прокатывал дальше, до крышки погреба, успевая крикнуть по дороге:

— Дверь!

Я кидался к двери.

Пол веранды глухо гудел, тяжело прогибался, и на нем оставался гладкий, красивый и стойкий след.

Отдышавшись, он откидывал крышку погреба, закатывал бочку дальше за край, так что днище свешивалось едва не наполовину, осторожно спускался вниз по перекладинам лестницы и оттуда, снизу, говорил мне:

— Теперь давай. Теперь все от тебя зависит. Главное — ничего не делай лишнего. Ты понял меня? Только то, что надо!

Все было на самом-то деле предельно просто. Я должен был всего лишь придерживать верхний край, в то время, как он, уперевшись снизу плечом, сталкивал бочку с пола на перекладину. Затем с первой на вторую, потом на третью и так до самого дна погреба. Все было просто, но в любой момент бочка могла на него свалиться, целиком, всем своим немислимым весом. Это было настолько возможно, настолько близко, что каждый раз как бы уже и слу-

чалось, и тот свой страх я не только что помню, я отчетливо ощущаю его и сейчас. Но дело не только в страхе, тут что-то еще...

Вот он подлезает плечом под круглый, твердый и режущий нижний край, челюсти его сжимаются, лицо искажается, он процеживает сквозь зубы, как бы простанывает:

— Придерживай!

И время для меня останавливается.

Я не знаю, как объяснить, но именно этот момент каждый раз застывает стоп-кадром в моей памяти. Я цепенею над краем бочки, над квадратным провалом, внутренность которого слабо освещается экономной лампочкой, висящей чуть в стороне, ближе к центру веранды; а внутри, с другой стороны бочки, в мягком рембрандтовском полумраке неподвижно светится красноватая лысина и лицо моего дорогого дядьки, навсегда искаженное взглядом сверху и гримасой усилия. И странно, я ведь знаю, что здесь, сейчас, ничего не случится. А все-таки именно эта картина — не те, еще его поджидавшие, действительно страшные, а именно эта, по неведомой мне причине — теснит мое сердце острой тоской и щемящей жалостью...

7.

Я долго думал, что его отношения с женщинами — это что-то вроде строительных его прожектов. Что и здесь дальше глупой детской игры, дальше подкальваний и заходов дело не движется. Это был внешний стиль его жизни, и его разговоры, к примеру, с Дорой Семеновной я никак не отделял от его разговоров с Санией. Те же пять всегда готовых остроумий, те же десять присказок, ну разве что еще в довесок два комплимента, да какое-нибудь двусмысленное движение рукой, не жест, а только его начало опасливое, с оглядкой на тетю Женю...

Дора Семеновна была нашей новой соседкой... Здесь "новой" — не очень точное слово, точнее бы было просто — "соседкой", но так что бы "новой" в нем как-то внутри содержалось. Потому что прежде, до Доры Семеновны, никаких соседей никогда у нас не было. Но Дина-Динуся жила отдельно со своим крестьянином, детская комната ее пустовала, и решили по бедности ее продать как-ким-нибудь порядочным хорошим евреям. Так у нас появились Дора Семеновна, ее дочка Фаина и кошка Кисачек.

Очень похожие друг на друга, тяжелоногие, крупнозадые, с

крашеными хной короткими волосами, с темноватой, не очень чистой кожей, с настороженным, стервозным выражением лиц, какое часто бывает у одиноких женщин, мать и дочь заполнили собой до отказа не только комнату Динуси, что было естественно, но и все "помещения общего пользования", как выражался дядя Мишуня. Они прибыли из какой-то украинской дыры, сумели пробиться в Москву и теперь утверждали в ней свое присутствие. Они в принципе не умели разговаривать тихо — и очень слабо, едва-едва, умели разговаривать мирно.

— Не могу понять этих людей! — орала с утра на кухне Дора Семеновна. — Если хочешь взять мою мясорубку — пожалуйста, попроси и бери, мне еще никто не сказал, что я жадная, я еще ни одному человеку не пожалела такого добра. Но зачем брать без спроса, тайком — вот что мне непонятно, вот загадка всей моей жизни, люди добрые, помогите мне ее разгадать! И уж если ты такая, что берешь без спроса, так хоть вымой чисто. Ну, ты не привыкла жить в чистоте, что же делать, так другие привыкли. Да. И им неприятно. Не хочется закрывать шкафчик на ключ, что такое, как с чужими, как МЫТ ДЕ ГОЕМ, но вот придется. Вот придется...

Мы сидели в своей комнате, как в осаде.

— ДИ ЕРСТ? Ты слышишь? — говорила тетя Женя. — И что мне делать с этой сумасшедшей?

— А КОЙЛЕРТЕ! — говорил он. — Убийца! Женюся, не нервничай. Вот увидишь, я ее выселю. Как пить дать. Выселю и посажу, она еще у меня поплачет. Я уже говорил на эту тему с Локтевым, все откровенно ему рассказал, он был сам не свой. Сказал, что поможет. Надо будет завтра его пригласить.

— Твой Локтев! — вскидывалась тетя Женя. — Толку от него, как от козла молока. Только корми его и пои. Напьется и все забудет.

— Не нервничай, мы с ним по сто пятьдесят, не больше, честное мое слово. У него гипертония почище моей, вчера при мне вызвали скорую прямо на службу...

В это время там, на кухне, происходила перемена. Из комнаты выходила умываться Фаина, и Дора Семеновна, на минутку умолкнувшая, обретала возможность начать сначала.

— Нет, ты подумай, людям трудно спросить!..

— А нечего строить из себя цацу, — подхватывала дочка с готов-

ностью. — Как они к тебе, так и ты к ним. Если бы они к тебе похорошему...

— БАЛЭБУСТЫМ! — жаловалась Дора Семеновна. — Хозяева! А я — ничего, я говно, и меня можно топтать, сколько хочешь. Конечно, если бы в доме у меня был мужчина...

— Ты такая же хозяйка, как и они, и нечего цацкаться. Запереть на замок, заявить в милицию, вызвать инспекцию, написать в газету...

Тетя Женя не выдерживала, выбегала на кухню.

— Как же вам не стыдно, Дора Семеновна, — выкрикивала она сквозь слезы. — С чего это вы взяли, что я брала мясорубку? Ну зачем она мне сдалась, у меня есть своя, вы же знаете, что у меня есть своя, зачем вы придумываете, вы же это все специально придумываете, я боюсь притронуться к вашему шкафчику, пусть бы там лежал миллион золота, я мою пол, так даже тряпкой его не касаюсь, как же вам не стыдно, взрослая женщина...

— Это мне должно быть стыдно?! Мне?! — радостно разворачивалась Дора Семеновна. — Нет, Фаиночка, не уходи, я прошу тебя, послушай, какие бывают люди. Я тебе рассказываю, ты не веришь, так вот убедись своими ушами. Ты слышишь? Мне должно быть стыдно. Ну?! Ха, ха, ха, ха! Просто не знаю, смеяться или плакать. Я вчера утром прсвернула котлеты, помыла, ты знаешь, я мою чисто, не так, как другие, другие моют в одной воде, и им достаточно, больше не надо, а я мою в трех водах, чтоб ни пятнышка, так я мою. Чисто помыла и поставила к стеночке, вот так, и ушла в вечернюю смену. А сегодня смотрю: что такое? — она стоит вот так. Ну? Как ты думаешь, кто ее так поставил? Господь Бог ее так поставил? Пушкин ее поставил? Кисачек ее поставил? Раскручиваю — так и есть! Жир. Понюхай. Свинина? Свинина! А ка-ак же! А я со свиной в жизни не делаю! Я могу добавить куриное филе, немножко сырой картошки — но не свинину. Нет, я не такая благочестивая, не хочу придумывать, просто я не ем свинину и все. Мое дело! Так кому должно быть стыдно, а? Конечно, конечно, у нее есть своя мясорубка. Врагам моим такую мясорубку. Это не мясорубка, одно мученье, она мне сама говорила вот на этом месте. А моя — так это одно удовольствие, и конечно, люди не дураки, выбирают лучшее...

Дядя Мишуня ходил по комнате, сжимал-разжимал кулаки и скрипел зубами. Наконец, он не выдерживал, приоткрывал дверь, говорил жестко:

— Женюся, иди сюда. Иди немедленно, я тебе приказываю. Нечего тебе с ней разговаривать, с ней будут разговаривать там, где следует!

Ему ответом была оторопелая пауза, затем рвалась, ударяясь в потолок и стены, новая разъяренная вспышка, но тетя Женя к тому моменту оказывалась уже среди своих, за дверью, качала головой и вытирала слезы.

И вот однажды я зашел случайно на кухню и увидел всех троих в каком-то странном, принужденном согласии. Все они стояли лицом ко мне, как бы позируя для фотографии: в центре дядя Мишуня, тетя Женя справа, слева — Дора Семеновна. Тетю Женю он вяло левой рукой обнимал за плечи, а правой, закинутой за шею Доры Семеновны, живо и грубо мял и тискал ее большую грудь в тонкой бежевой кофте. Она оставалась прямой, застывшей, губы скривились в дурацкую полуулыбку; а тетя Женя смотрела в сторону, пригибала плечи, терзала тряпку и как бы не видела, не догадывалась, ничего не знала о мишунинной правой руке, и только непереносимые, всегда готовые слезы текли по ее щекам и капали с носа.

Он что-то тихо бормотал по-еврейски, взглянул на меня мутно, в упор, сказал сквозь зубы: "Вот... мои жены. Это мои любимые жены... Мои женщины... Мои жены..."

И голос его сдавленно и нервно вибрировал, и в такт разжималась и сжималась рука....

Это было весной, а тем же летом, в жаркий день, я зашел в сарай за инструментами и, открыв дверь, почти вплотную столкнулся с полуголой Фаиной, едва не уткнувшись лбом в ее потный живот. В том, что она в купальном костюме, не было ничего необычного, так она всегда ходила по двору, загорала в шезлонге, играла с Кисачеком. Но что ей было делать в нашем сарае?

— Ах! — тихо вскрикнула она. — Ты меня напугал...

Лицо было красное, в мелких капельках, косоватый коровий взгляд, встрепанные, неопрятные волосы... От нее густо несло потом. Я посторожился, она прошла, тяжело, массивно, наклонив голову.

Что ей было делать в нашем сарае, попробовал бы я зайти в их сарай, сколько бы уже развелось разговоров... И тут мне навстречу вышел дядя Мишуня, тоже потный и раскрасневшийся, его рабочая холщовая куртка, "накидка", как он ее называл,

открывала волосатую потную грудь, слипшиеся рыжевато-седые колечки...

Он увидел меня, сказал: “Ой, вейз мир!” — и поднес палец к губам, изображая лукавый страх. Спросил: “Ну, что там? Тетя Женя в горнице?” Я растерянно промолчал. Он похлопал меня по спине, огляделся, вернулся в сарай, прихватил плотницкий ящик, тот самый, за которым я сюда направлялся, кивнул мне, давай, мол, следуй за мной, и в галошах на босу ногу прошлепал на задний двор. Там мы с ним начинали строить беседку, очень нужное и полезное сооружение, окончательный, ожидаемый вид которого не был известен ни мне, ни ему...

8.

Все первые послевоенные годы (два, три или пять, не знаю, сколько...) спрессовались в моей запоздалой памяти в один непрерывный и плотный год. Я учился во втором и четвертом классе, тетя Женя работала кассиршей в столовой, а также сторожем в ЖКО, а также вообще нигде не работала, Динуся восстанавливалась в институте, расходилась-сходилась с мужем, рожала дочку (как ни странно, мало что изменившую в жизни и характере дяди Мишуня), в Москву, наконец, возвратилась мама, мы с ней переехали в другую квартиру, в дальний, как раз по диагонали, вполне городской район Москвы, с асфальтом, автобусами и трамваями... И дальше, и дальше дни и события не наращивали, не удлиняли времени, а только лишь увеличивали его плотность в том же объеме. И однажды зимой в какой-то год (уже, быть может, и непригодный для того, чтобы числиться в послевоенных), в воскресенье утром наведавшись в гости, я застал дядю Мишуню в постели, страшного, с обвязанной бинтом головой. Он лежал с закрытыми глазами, стонал, тетя Женя ставила ему горчичник на сердце. Тут же рядом сидела Дина-Динуся, распустив роскошные рыжие волосы, плакала и упрасивала:

— Папуля, прости ради Бога!

Обнаружилась удивительная история, к счастью, с благополучным, как тогда казалось, концом.

Накануне вечером все услышали вдруг, как кто-то ходит под окнами дома, скрипит снегом, ходит и ходит, по несколько раз повторяя все тот же круг.

— Представляешь? Как привязанный! — сказала тетя Женя. —

И главное, Джульба была на улице и не лаяла, ну, такая подлая! Как будто это лучший ее знакомый. Она, конечно, уже старуха и может на своих полаять сослепу, так если ты лаешь уже на своих — полай на чужого, хотя бы на всякий случай!..

— Боже, она его вспомнила! — всхлинула Дина. — Я его забыла, а она его вспомнила! И ведь маленькая была, совсем щенок, полгода или, может быть, год, не больше...

— Ой, перестань! — отмахнулась тетя Женя. — Ты так говоришь, как будто ты знаешь.

— Я знаю, мама, я знаю, никаких сомнений!..

Со всеми этими всхлипами и перебивами я все же дослушал, и было вот что.

Погасили свет, смотрели в окно, увидели: действительно, ходит мужчина, крупный, но подробнее разглядеть не смогли. Стали кричать: "Кто там, кто там!" — в четыре голоса: Дора Семеновна, тетя Женя, Фаина и дядя Мишуня. Никто не ответил. Тогда Мишуня, мужчина в доме, одновременно удерживаемый и подталкиваемый, отпер наружную дверь и встал на крыльце. Тот уже уходил, приближался к калитке. Мишуня его окликнул.

— Сам не знаю, зачем. Мать честная! Убить меня мало.

Тот как раз и попробовал это сделать. "Кто там, стой!" — по-дурацки крикнул Мишуня, и тот сразу обернулся и выстрелил. Выстрелил — самым настоящим образом из самого настоящего пистолета! И исчез, как будто его и не было.

Мишуня припал к косяку, тетя Женя взвыла, голова у него была в крови, но оказалось, прострелено только ухо, как раз по верхнему краю.

— Один сантиметр, — говорил потрясенно дядя Мишуня, — представляешь, сынок, один сантиметр и ты бы уже меня хоронил. Как пить дать. Честное мое слово! Вот судьба! А ты говоришь — не бывает...

— Нет, надо позвать Локтева, — настаивала тетя Женя. — Вы не хотите, так вот я сейчас сама: встану, оденусь и позову.

— Какого Локтева, глупая твоя голова? — оживал сразу же дядя Мишуня. — Локтев уже три года как в Кунцеве, начальником паспортного стола.

— Ай, какая разница, даже лучше. Пусть другой, кто там вместо него?

— Медунов... Ой, сердце!.. Медунов Николай, он же ко мне приходил два раза, ты что, глупенькая, не помнишь?

— Я помню, помню. Я все помню. Последний раз ты еле очу-
хался...

Дядя Мишуня ранен, в него стреляли. Я никак не мог вобрать в себя это событие. Оно было откуда-то не отсюда, из какой-то другой, не нашей жизни. И вообще не из жизни — из книг, из кино. Война уже много лет как кончилась, даже там, далеко-далеко, где на самом деле стреляли, — даже там уже давно не стреляли. Но здесь, в Москве, в нашем дворе, в моего дядьку! И кто был тот человек, и зачем, и за что?

Но Динуся как будто все знала заранее, и она говорила так быстро и так убедительно, всхлипывая то ли от жалости, то ли от радости, что всем передала свою уверенность. Вне сомнений, это был Андрей Ольховский, ее школьный товарищ, сделавший ей до войны предложение, безумно в нее влюбленный. Всю войну он писал ей страстные письма, и она его обманывала, отвечала, ну как ему было написать туда... А после войны он служил в Берлине, теперь вернулся и все узнал. Она встретила Тамарку из их класса, Андрей приходил к ней на прошлой неделе, пьяный, расспрашивал о Динусе и все тащил из кобуры пистолет, говорил, что застрелит Динусю и мужа и сам застрелится.

— Боже, Боже! — качала головой тетя Женя. — Но как же так, почему же он в папу, при чем тут папа?

— Он был пьян! — с гордостью сказала Динуся. — Он хотел убить меня или Толю, но он был пьян, не узнал голоса и выстрелил в темноте наугад. И пожалуйста, ведь все уже обошлось, я прошу, мамуля, ради меня, не надо куда-то заявлять, ну пожалуйста, ну папуля, прости ради Бога!..

От этого удивительного происшествия остался у него на ухе надрыв — маленький, на самом-самом верху, кто не знал, мог не заметить. И еще — привычка двумя пальцами трогать его и слегка потирать, как бы проверяя, тут ли он еще, не зарос ли...

А потом, позже, через два года это раненое ухо он обморозил. Никогда ничего с ним такого не было, по полдня в любые морозы ходил с молотком и пилой по своим владениям, а тут вдруг обморозил, и где? — в городе, пересеживаясь с метро на автобус, за какие-то пять или десять минут. К тому времени старый наш дом снесли и сравняли с землей. Они жили с тетей Женей в отдельной квартире, на скучной и безликой пятиэтажной окраине. Он

в тот день был один, в гостях у Динуси, распил с зятем бутылку водки и почти трезвый ехал домой. Такая случилась беда. Ну конечно, прямо так, что беда, сначала никто не подумал. Мазали салом, мазали иодом, а все не проходит, краснота и корка, болит и чешется. Он пошел к хирургу — его послали к онкологу. Тетя Женья мне позвонила, и я приехал.

Мы выпили с ним по три стопки водки, и он сказал мне:

— Хреновая жизнь. Живешь, живешь, а зачем, непонятно. Помрешь, ничего от тебя не останется. Вот, посмотри, ты у нас во всем разбираешься. Все анализы сделал, и все хорошие, я такого даже не ожидал, только один, говорят, не того-с. Так может у человека в моем возрасте, с грудной жабой, с такой нервотрепкой, и который выпил столько водки и обнял столько красивых женщин, может быть один неважнецкий анализ?

И он протянул мне кипу бумажек. Я стал перелистывать и откладывать. Кровь, моча, рентгеноскопия...

— Вот, говорят, вот этот, что ли...

Да, это был именно он. "Атипичные клетки в большом количестве. — Сг". И печать, и подпись.

— Что ты задумался? Плохо мое дело? Конченный я человек, а? Да ты говори прямо, не бойся.

— Ну нет, — промямлил я, — ничего... Конечно, это не вполне нормально... Вообще, все правильно, надо лечиться... Чего там... С врачами поговорить...

— А что это значит вот здесь: Сэ-че?

— А, это... Ну... счетчик. Лаборант, что ли. Вот видишь, подпись. Эс-че, счетчик такой-то. Да ты не расстраивайся, ничего страшного.

— Да! Да! Так я и знал! Конченное мое дело. Никчемный я человек. Никудышный я человек...

Это он уже не говорил, а шептал сквозь слезы, почти беззвучно.

А потом — больницы, разговоры с врачами, красивое слово "эпителиома", которое я, чтоб втереться в доверие, старался произносить, как они, небрежно и буднично, и даже с легкой беспечной улыбкой всезнания.

Мик послушал докторов —

Он и весел и здоров.

Мак не слушался врача —

Вот и тает, как свеча.

Его оперировали, но неудачно, слишком мало отрезали, пожалели ухо. Пошли метастазы в Гассеров узел — сплетение лицевых нервов, начались почти постоянные дикие боли. И сердце его, после двух инфарктов дышавшее, как он сам говорил, на ладан, и столько раз его подводившее — подводило его и на этот раз, никак не желало отказываться, а желало неумолимо длить его муки до последней меры возможности.

Сначала я ездил по несколько раз в неделю. Привозил лекарства, отвары и травы, в замечательную силу которых, едва услышав, начинал немедленно верить. Но силы никакой в лекарствах не было, с каждым разом ему становилось все хуже и все трудней становилось с ним разговаривать. Он встречал меня, пожалуй, уже и без радости, хотя все еще с нервным нетерпением:

— Заходи, заходи. Давай, раздевайся. Садись, ну? Ну что же ты, а? Ну? Что нового? Нет, подожди...

Заставлял тетю Женю налить мне водки. Немедленно.

— Выпей, потом расскажешь. Ты пьешь, а я получаю удовольствие. Видишь, это все, что я еще могу.

Он уже почти не вставал с постели, я подсаживался к нему, жуя капусту, и он брал мою руку в свою, теплую, вялую (та же ли это была рука — всегда напряженная, цепкая, хваткая, диктующая и твердо ведущая?), заглядывал мне прямо в глаза мутным, раздавленным, сумасшедшим взглядом и спрашивал:

— Неужели это все-таки рак?!

И с каждым разом все большего труда стоило мне не отвести глаза, не расслабиться, не кивнуть ему, не сказать:

— Ну конечно, Господи, а что же еще!

И я стал приезжать все реже и реже, вот уже и не чаще двух раз в месяц, и прощаясь в коридорчике с тетей Женей, одеваясь, целуя ее дряблую щеку, не промалчивал, а говорил ей: "Ну-ну, держись!" — вот ведь мерзость человеческая, вот ведь подлость... Он был ее единственной вечной любовью, ни Динуся, ни долгожданная внучка в сравнении с ним ничего не значили. И сейчас — оставаться с ним с глазу на глаз, каждую минуту ожидая конца, ворчать на него, когда он стонет и жалуется — это было невозможно одному человеку, это надо было с кем-то делить, и ясно ведь, с кем... Но я как бы этого ничего не знал, я как бы заведомо был уверен в справедливости принятого порядка: я уезжаю к себе домой, а она остается здесь, вот со всем этим. "Держись!" За что ей было держаться? За него и держалась всю жизнь...

Надо думать, это было не в самый последний приезд, но теперь я вспоминаю его как последний.

Напоив меня водкой, накормив ужином, она спросила робко:

— Ты еще посидишь? Я воспользуюсь, сбегаю пока в магазин. Вечером придут колоть морфий, но тогда уже, наверно, Динуса подъедет, а сейчас я быстро, я полчаса...

Он дремал, но как только хлопнула дверь, сразу открыл глаза и сказал отчетливо:

— Ты здесь? Подойди. Сядь. Не на стул, на постель. Ближе. Дай мне руку. Вот так. Слушай. Ты знаешь, кто это сделал?

Я подумал, он бредит. Глаза были мутные.

— Что ты, о чем ты? Хочешь попить?

— Ты вот что. Ты слушай меня внимательно. Ты должен помнить. В меня стреляли тогда во дворе...

— Ну? К чему это ты?

— Дурачок. Дурачок ты. С этого же все началось, глупая твоя голова. Вот...

Он покрутил рукой как бы возле уха, на самом деле — почти не отрывая руки от одеяла, но я его понял.

— Он меня хотел убить — и убил!

— Кто? Андрей? Но ведь он не тебя...

— Какой там Андрей! Никому ни слова. Обещаешь? Как перед Богом? Ну то-то. Это Локтев в меня стрелял. Бывший наш участковый. Хороший мужик, сколько мы с ним выпили, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Бандит оказался — первой гильдии. Захотел убить — и убил. И правильно! Конченное дело, пропащий я человек...

Глаза его, мутные от морфия, ошалевшие от боли, были глубоко наполнены слезами, губы двигались скованно. Но он хорошо понимал, что говорит. Я же так растерялся, что утратил бдительность, забыл выдать дежурную дозу, мол, что за бред, почему "убил", ты еще живой, ты еще поживешь, врач говорит... И пару жидких, бессмысленных медицинских подробностей, за которые он охотно ухватится. Я заметил уже с большим опозданием, что он, поглощенный все время одним, он-то бдительности как раз не терял, он поймал меня на слове, верней, на отсутствии слов, и похоже, именно это сейчас переживает, именно этим больше всего и мучится. Но уже как бы шла другая тема, и я позволил себе не отвлекаться.

— Так это не Андрей? Ты точно знаешь? Локтев... Помню. Не

может быть! Зачем? За что? Что ты мог ему сделать? Такого страшного, чтобы так...

— Значит, помнишь Локтева? А Ольгу помнишь? Ну вот, то-то. А он с ней жил. Ты не знал? Она ему была как жена. Даже больше, ты понял меня? Даже больше! А потом, после той нашей поездки... Ты же ездил со мной, помнишь? Ну вот. Мы тогда уже с ним разошлись, не дружили. Но он-то почувствовал, догадался, мерзавец. Он ей говорил, она мне сама рассказала. Убью, говорит, твоего жида, так и знай! Ну вот и убил. Нет, антисемитом он не-е был. Антисемитом он не-е был. Это он так, со зла. Горячий был парень... Хотя черт его знает, в душу не влезешь. Ну-ка встань, встань!

Я встал.

— Повернись спиной.

Я повернулся.

— Подойди к буфету.

Я подошел.

— Левей, левей. Видишь ящик?

Я, конечно же, видел ящик.

— Возьми ключ, вставь, отопри.

Ключ от ящика лежал в фарфоровой соуснице, а в ящике, среди фотографий, рецептов, облигаций, авторучек и прочего хлама, я должен был у самой задней стенки найти серебряный сундучок, размером со спичечную коробку, сводчатый, весь в ажурных узорах. В детстве я с ним любил играть, мне казалось, что он, даже если пустой, хранит невидимые сокровища или иглу кощейевой смерти. Оказалось, что нечто в этом роде он теперь и хранил.

В сундучке тоже был свой замочек, но он уже давно не работал, и надо было просто откинуть крышку. Там, под перламутровым гарнитуром — две запонки и булавка на галстук — лежал бесформенный серый кусочек металла.

— Видишь?

— Вижу.

— Понял?

— Понял. Откуда ты ее взял?

— Из наличника. Ты думал, я такой дурачок? Я потом вышел один на крыльцо, встал, как тогда, поглядел на уровне уха и ножом... Представляешь, если б я на него заявил? Мать честная! Одно мое слово, и он погиб. Восемь лет, как пить, это не меньше... Ну, а я, старый дурак, решил: пронесло и ладно. А теперь,

брат, поздно, он сам уже помер, меня обошел. Сердце было тоже никудышное. И пил, как лошадь. Мне не чета. Я триста грамм — он поллитра. Я поллитра — а он семьсот, я семьсот — он литр. Такой был мужик, трясця его матери!..

Он вдруг подтянулся, воспрял духом, что-то впрыснули в него эти воспоминания, может быть, чувство собственной значимости, ощущение, что жил -он все же не зря, не впустую, красиво, или как-нибудь там еще...

А я сидел, слушал и думал: Ольга и Локтев!.. Вот уж о ком не сказал бы "горячий парень"! Локтев был вялый, сырой, блеклый, хоть и крупный, но какой-то совершенно стертый, если бы не синяя милицейская форма — кажется, растворился бы в воздухе. Пил, действительно, но и Мишуня пил, поди разбери, кто больше, кто меньше. Выпив, несколько оживлялся или, вернее, слегка оживал и рассказывал каким-то брезгливым голосом с упорным постоянством одно и тоже: как его уважает и ценит начальство, какую он имеет власть на участке и как может арестовать в любой момент кого пожелает. "Кого пожелаю. Вот сейчас укажи — встану, оденусь, пойду и доставлю!" И затем следовала неременная шутка: "А могу и тебя!.." Мне кажется, даже дядя Мишуня в конце концов устал восторгаться, качать головой, хохотать и повизгивать и отработывал все это кое-как, невпопад... Локтев. Убить — в это я еще мог бы поверить. Но Ольга... Воистину, чего не бывает на свете!

Мы еще поговорили с ним о нашем прошлом, о той нашей с ним поездке, об Ольге. Он поддакивал, удивлялся, как много я помню, радовался и, быть может, слегка заискивал ("Мать честная! Ты же был вот такой шпингалет!") и даже порой, как мог, вполгубы, улыбался. Боль его словно бы вовсе оставила, и я подумал: мало ли что... а вдруг пронесет?..

Пришла тетя Женя, я начал прощаться, сказал ему: "Ну, давай, держись!" — и вышел, и ей сказал в прихожей: "Держись".

И уже стоя на остановке, в сумерках, один, засыпаемый снегом, стал по-настоящему вспоминать то, что, в сущности, помнил всегда.

9.

Тогда тоже была зима, вечер, легкий мороз, снег...

По Москве он таскал меня всюду с собой, но в командировки не брал ни разу, а тут решил почему-то взять. Странно, но я ему не мешал, а скорее напротив, придавал уверенности. Он ведь был по сути одинокий человек, здесь же он знал, что ему обеспечена хоть и бесполезная, и молчаливая, но зато безоговорочная поддержка. Он служил тогда в каком-то снабжении, разъезжал с договорами по Московской области и в тот вечер пришел домой возбужденный, бурлящий изнутри и румяный снаружи.

Как всегда, ничего не сказал сразу, все важное оставил на потом, на-сюрприз, выпил водки, похрустел капустой и луком. Я всегда очень хорошо его чувствовал и сейчас знал, что что-то он приберег, но не спрашивал, этого было нельзя, мое терпеливое молчание входило в игру, а только ждал и вертелся поблизости. Наконец, он меня подозвал, усадил рядом, больно проверил на каждом пальце, коротко ли острижены ногти, велел не горбиться, прислониться к спинке и вдруг, как бы продолжая разговор, спросил:

— Ну так как, банда батьки Кныша, я не понял, ты едешь — или не едешь?

Я аж захлебнулся:

— Ты что? Куда?

— Как куда? Разве ж я тебе не говорил? Я тебе говори-ил. Я говори-ил. Я говори-ил...

— Ничего ты не говорил!

— Ну вот, здрасьте, имей с тобой дело. Нет, ты не деловой человек. Ты Еврей, я с Евреями дел не имею...

Наконец, проболтав все свои прибаутки, он сказал ключевые слова:

— В Серпухов!

— Что ты выдумал, — заговорила тетя Женя, — таки едешь?

— Еду! И — не позднее, чем завтра! И мальчика забираю с собой!

— Надолго? Что же ты мне не сказал? Какой ты...

— Не мог, Женюся, пойми меня правильно. Государственной-важности-дело! Точка. Еду надолго. На целые сутки. Заготовь нам, Женюся, побольше еды и, как минимум, по две бутылки на брата...

Мы вышли с ним из калитки в сумерки, шел легкий снег, он держал меня за руку, в свободной руке он нес чемоданчик, а я —

матерчатую сумку с котлетами. Там, конечно, была и другая еда, но больше всего там было котлет, тетя Женя полдня специально их жарила, держа демонстративно, на видном месте, разобранную, свежeweымытую, с в о ю мясорубку... И поэтому я запомнил именно так: сумка с котлетами. Одеты мы были с ним великолепно. Я — в новых черных валенках с галошами, в кожаном пальто с коричневым мехом, перешитом тетей Женей из старого отцовского; он — в фетровых подшитых бурках, в штатских синих бостоновых брюках, в черном длинном пальто с каракулем и в такой же, кожей обшитой, шапке. Он был гладко и подробно выбрит опасной бритвой и даже с н я л в этот раз усы, так что выглядел странно и непривычно, и когда разговаривал, верхняя губа, казалось, движется несколько скованно, как бы стесняясь собственной наготы. Он был в веселом, праздничном напряжении, нервно мял мою руку, зачем-то оглядывался и по мере приближения к остановке троллейбуса — а идти было надо минут пятнадцать — становился еще возбужденнее, но и легче, как-то расковывался, освобождался и, казалось мне, на глазах молодец. И — говорил, говорил непрерывно. Рассказывал, как в тридцатые годы он жил в Сибири, служил в каком-то продуправлении, и каких замечательных имел лошадей, все соседи узнавали его бричку издали, называли ее "тачанка". Но однажды... Мы как раз переходили по мосту через нашу замерзшую, засыпанную снегом речушку. Он и вспомнил и тут же мне рассказал, как однажды ночью он шел зимой через реку от одной за-а-мечательной дивчины. И вышли ему навстречу трое, и как раз на самой середине реки — а река ба-альшущая, не то что эта, с километр как минимум, а то и больше — и как раз на середине реки раздели. И топал он домой, наверное, час, босиком и в одних кальсонах. Мать честная!

— Как раздели? Ты сам разделся?

— Ну, ясное дело. Окружили с ножами, говорят: "Сымай!" Я и "сымаю". Хотели резать, а потом решили, и так замерзну. И хочешь, верь, не хочешь, не верь, даже и не чихнул после этого. Здоровый был, как бугай, не то что сейчас. Воз груженный поднимал плечом. Подниму, держу, только поплеываю, а кучер колесо меняет. Торопится. Я ему говорю: не спеши, не спеши, делай по правилам... Ну вот, пришел я тогда домой, выпил двести грамм, ноги водкой натер и заснул, как убитый, и встал, как ни в чем не бывало, — опять казак казаком... Такая история.

— А тетю Женю... — вдруг сказал он тогда с каким-то, как мне показалось, усилием, — тетю Женю я крепко любил и жалел. Она была у меня красавица, все завидовали. Да, любил и жалел... Ну, это уже другой разговор. Не горбись!..

И словно исполнив долг, освободившись, повеселел и полегчел окончательно.

Я знал, разумеется, что будут сюрпризы, без этого он часа прожить не мог. И все же я здорово растерялся, когда на вокзале чужая женщина, молодая и, как в анекдоте, красивая, р у с с к а я — радостно бросилась ему на шею.

Он поставил чемодан, расцепил ее руки.

— Тихо, тихо, погляди, погляди...

— Да? — она опустила руки в зеленых вязаных варежках, отступила на шаг, огляделась серьезно, испуганно — и тут же улыбнулась облегченной, ясной улыбкой.

— А-а! Как хорошо, как хорошо!

На ней было черное пальто в талию с небольшим чернобурым воротником, такие же валенки, как у меня, и под цвет зеленым варежкам зеленый платок. Тогда она мне сразу показалась красавицей, я так и подумал этим сказочным словом, впервые приложив его к живой женщине. Теперь, разглядывая ее отсюда, я, пожалуй, этого не нахожу. Но была она, безусловно, живая, свежая и новая, невозможно новая в каждом своем движении. Я подумал тогда, что похожа она на артистку, на какую-то из моих любимых, но не мог понять на какую именно. Получалось, будто на нескольких сразу: на Орлову, Ладынину, Целиковскую...

С ходу, без паузы, не раздумывая, она сделала шаг ко мне, наклонилась, положила мне на плечи ладони в варежках и крепко поцеловала в щеку.

— Чудной у тебя племянник, М и ш а, — сказала она. — Похож на тебя? Нет, не похож. Ни капельки! Странно.

— На отца, — сказал он серьезно. — Вылитый. Исключительный был человек! Вот, оставил... Так теперь вдвоем и воюем. Ничего, он у меня казак. Проходи, казак...

Но я не мог сдвинуться с места. На меня впервые нашло то особое, дурное оцепенение, какое потом, в последующей жизни, и детской, и взрослой, повторялось не раз и теперь хорошо мне знакомо. Возникает оно всегда в переходный момент, когда ситуация в чем-то резко меняется: иная обстановка, иные люди или,

скажем, иное значение жестов и слов. Будто ты играл и играл привычную роль, играл, как дышал, — и вдруг, мановением чьей-то руки, попал в совершенно другую пьесу, и отныне что бы ни сказал и что бы ни сделал — все будет нелепостью и бессмыслицей. И ты об этом не столько знаешь, сколько чувствуешь, как бы физически — телом, спиной... И случись это в пятый, в десятый и сотый раз — ты будешь снова так же нем и бессилён, разве только будешь знать, что это проходит, и ждать, когда, наконец, соизволит пройти...

Но тогда я еще не знал этого и стоял, беспомощно застыв, замерев, с перехваченным горлом и влажным лбом. Дядя Мишуня прошел вперед по инерции, потом обернулся, взглянул на меня, раскрыл было рот — но мотнул головой и не стал ничего говорить. А она тоже — обернулась, взглянула и то ли по его незаметному знаку, то ли по собственному порыву, вдруг быстрым шагом вернулась ко мне: “Ну что ты, милый, пойдем, пойдем...” — положила мою руку на сгиб своей и так, не за руку, а словно бы под руку, мы с ней вошли в вагон и Мишуня — следом...

Вагон был такой же, как тогда из Челябинска, но только почти пустой. Мы сели втроем у окна за столик, и Ольга села напротив меня, расстегнула пальто, развязала платок. Открылся свитер с большим воротом, мягкой, бархатной черноты, и неожиданно короткие волосы, чуть длинней, чем у Зои Космодемьянской, не темные, но и не очень светлые, красивые — такие, как надо... Она поглядывала то на меня, то в зеркальце, и когда в зеркальце, то все равно на меня, так мне казалось. Улыбнулась — это уже точно мне, тряхнула головой ободряюще-дружески, прикрыв глаза, такая, мол, жизнь, не грусти, все будет в порядке... Потом уставилась на дядю Мишуню, уперев лицо в ладони, а локти в столик. Он усмехнулся, спросил:

— Ну что ты, что ты?

— Ничего, — сказала она, — вот мы и поехали...

Поезд тронулся, стало совсем хорошо.

Дядя Мишуня открыл чемоданчик, достал поллитровку, вытащил из моей сумки сверток с тетижениными еще не остывшими котлетами, и я внутренне дернулся — но только на краткий миг. В этой новой игре были новые правила, я их принимал, и они мне нравились. “Миша” — называла его она и еще иногда говорила “Мишенька”, но ни разу не сказала ему “Мишуня”, как все, кто в той, другой нашей жизни имел к нему близкое отношение...

И понял я так, что мы с дядей Мишуней, на время, на краткую эту поездку, отрекаемся, что ли, от старого мира, как пелось в прекрасной песне с непонятым названием. А то, что мы этот старый наш мир предаем, или иначе говоря, обманываем — это чувство я тоже в себе ощутил, но и в нем была своя острота и своя особая радость. Мне было интересно, мне было празднично — я тоже как будто вырвался. И так при этом удачно устроился, что на воле, в новой, чужой жизни, с чужими людьми — а все равно под родной, надежной защитой...

Он уже завелся на воспоминания и рассказывал дальше, теперь уже больше ей, как в той же Сибири ехал один зимой через лес. Там было все необходимое, в этом рассказе: глухая ночь, лютый мороз, пугливая лошадь и, конечно, волки.

— Вышли из лесу впереди, метров двести, не больше, штук пять, честное мое слово, лошадь стала, что ты скажешь, шутейное дело! Я взял из саней соломы, хочу поджечь, а она не горит, тряся ее матери, промерзла совсем, только спички трачу. А ружья нет, и один, и дрожу, как цуцик, то ли от холода, то ли от страха. Честно говорю, как перед Богом: напугался крепко. И уже было думаю: все, погиб, конченное, брат, твое дело. Вдруг гляжу — мать честная! Прямо за ними, с той стороны, выезжает мне навстречу тройка. Их тут же как вымело. А это Егоров, председатель колхоза, мой знакомый, лихой был мужик, орел, сколько мы с ним... ну, не в этом суть. Подлетели они ко мне — а он ездил с кучером, и возок у него был красивый, как у купца, с крышей и полостью, все отдать и мало... Приказал он кучеру придержать, а сам из возка смеется: “Что, Моисеич, боишься сибирских волков?” “Да нет, — говорю, — возвращаться надумал, бумаги, дурья голова, забыл...” Ну, он посмеялся еще, но дальше пытаться не стал. Привязали мы мою лошадь к его возку, пересел я к нему в тепло, у него там, кстати, нашлось... И доехали мы обратно домой весело, за милую душу... Ну, давай еще по одной. Амины!

Он резко опрокидывал свой стаканчик, морщился, кричал, краснел, выдыхал... А она пила без усилий, глотками, как воду, и потом улыбалась и не спешила закусывать, и отщипывала, наконец, кусочек хлеба, а к котлетам так и не прикоснулась... Но слушала замечательно хорошо, трясла головой, ужасалась, смеялась... И все время поглядывала на меня, приглашала в свидетели, в соучастники...

И мне было радостно, и мне было весело, и мне было девять лет, и я был влюблен и счастлив.

На вокзале в Серпухове подошел к нам мужик в тулупе, еще издали помахал рукой в большой рукавице, крикнул хриплым голосом:

— Михал Моисеич! Ольга Иванна!

— Привет, Сергей! — сказал степенно дядя Мишуня. — Не опоздал, молодцом, молодцом.

Сергей подвел нас к саням-розвальням, показавшимся мне огромными. И была впряжена в них совсем небольшая лошадка, трудно было представить, что она их сдвинет, да еще с нами со всеми. В санях лежала солома, крупная, ломкая, равномерно умятая по решетке днища, и навалены были в кучу тулупы, такие же, как тот, что был на Сергее. Ольга расстелила один тулуп в передке саней, на него мы с ней сели, верней, полулегли, спиной к лошади, а другим укрылись, прижавшись друг к другу.

— Сами будете править, Михал Моисеич? — спросил Сергей.

— А то как же! — ответил мой дядька и принял вожжи. — Это ты здесь без меня казак, а теперь будешь у меня пассажиром.

— Добро, добро, — сказал, усмехаясь, Сергей. — Только лошадей не гоните, Михал Моисеич, она у меня за день сегодня намаялась.

Он лег вдоль саней с моей стороны, накрылся еще одним тулупом, с головой, так что только ноги торчали в серых огромных валенках, и сразу исчез как одушевленный предмет, стал как бы частью оснастки и упряжи.

А дядя Мишуня не лег и не сел, а немного раздвинул ногами соломой, искал на ощупь опору и встал во весь рост, почти у самого среза, широко, наискось расставив бурки, крикнул "и-эх!", крутнул вожжами — и мы поехали.

Развернулось, отодвинулось и померкло здание вокзала, мы въехали на темную, сельского вида улицу, где не было ни одного фонаря, и только редкий огонь в окне высвечивал уплывающие назад заборы и крыши. Мягкий мелкий снег далеко относил движением, перед нашими глазами его было больше, чем падало нам на лица. Резиновые вожжи мотались над моей головой, сходясь высоко наверху, в руках у дяди Мишуни. Лица его было почти не видно, и я иногда представлял с содроганием, что это не он, другой, чужой... Везет, неизвестно куда. Но тут случайный свет из окна обрисовывал безвольный его подбородок, наш фамильный, такой же, как у меня, единственное, в чем мы с ним были похо-

жи, — и мне сразу становилось тепло и уютно, и уже я гордился, что вот он какой, почти чужой, смелый, ловкий, правит лошадей, и этой грудой дерева, и всеми нами, стоит и не падает... И все занимательные его истории, леса, бандиты, лошади, волки и реки, воспринимавшиеся мной всегда отвлеченно, абстрактно, так что было мне и неважно, что правда, что вымысел, становились теперь, сразу, все скопом — ощутимой жизнью и правдой. Да и сам я как будто попал в такую историю, словно он мне ее про меня и рассказывал.

Все казалось сказочно неправдоподобным. Было странно сознавать, что скрипучая эта конструкция движется не безличной мощью мотора, а силой живого существа, почти человека, ну разве что более крупного, более сильного. Колея из-под полоза вылетала близко, почти осязаемо, сани скользили удивительно быстро, и было страшновато от этой бегущей у самых дядькиных ног наждачной поверхности и еще — неловко перед несчастной лошадей, которая вынуждена, бегом, бегом, тащить неизвестно куда четверых здоровых себе подобных.

И. Ольга, странная взрослая женщина, и в то же время как бы не очень взрослая, отчего-то была здесь рядом со мной, тесно, вплотную, не отодвинешься, я почти лежал на ее руке, крепко обнимавшей меня за шею, — и поглядывала на меня с умилением.

— Господи, какие глаза, какие ресницы! Миша, Мишенька, слушай, подари мне мальчика!

Ее губы жили и двигались близко, у самого моего лица, слишком близко и слишком крупно, так что я переставал воспринимать ее в целом и не мог временами понять, что происходит, и оценить, хорошо это или плохо. От нее здорово пахло водкой, но это ничуть меня не отталкивало, а даже быть может, еще больше сближало: этот запах был мне родным, так пахло от дяди Мишуни...

— Подари, Мишенька!

Он слегка приседал то в одну, то в другую сторону, сохраняя равновесие на поворотах, и не глядя на нее, мотал головой:

— О-ох, тряся твоей матери, бандитка ты, Ольга. На что он тебе, хулиганка, на что он тебе? Играть? Так он не игрушка. Он не игрушка.

— Нет, я не играть. Я буду за ним ухаживать, кормить-поить, веселить его буду, а вырастет — замуж за него пойду.

— О-ох, мать твою, ну бандитка, ну хулиганка!

— А что? Будет у меня жених во-от с такими ресницами.

И крепко целовала меня в щеку, и шептала, касаясь губами уха:

— Не откажешься от меня, возьмешь меня в жены?

И я понимал, что ответа не надо, и все-таки проборматовал еле слышно:

— Возьму...

А дядька мой приседал и посматривал, и качал головой в досаде и восхищении.

— Бесстыжая все же ты баба, Ольга, креста на тебе нет!

— Ого, креста! На тебе, что ли есть?

— Мне креста не положено, я не крещеный.

— Ну вот и помалкивай. Не даришь мне мальчика? Тогда продай.

— Купи, купи. Но имей в виду, миллионов твоих не хватит. Он у меня один на свете, дороже ничего не имею...

— Ладно, — сказала она, — еще поторгуюсь. Ты дорогу-то, Миша, хорошо помнишь, не завезешь нас куда-нибудь спяну?

— О-ох, это правда! Вези, куда хочешь, мне все едино...

И вот, наконец, совершенно случайно, один из домов на одной из улиц почему-то вдруг оказался тем самым, куда мы ехали. Сергей вскочил сразу, как будто не спал, молча взял вожжи из рук дяди Мишуни.

— Ну, бывай здоров, — сказал ему дядька. — Спасибо, хороший ты человек. Завтра не нервничай, мы сами дотопаем. Да ты не гляди, что он с виду такой, мы с ним по-военному...

Мы втроем прошли через калитку к дому, а там нас тоже — ждали и знали. Старуха хозяйка обняла каждого, умилилась мне, проводила в горницу с уже накрытым белым столом, и Ольга сняла тяжелые валенки и ходила в чулках, бесшумно и мягко ступая, и дядя Мишуня доставал поллитровку... Но я уже плыл куда-то мимо, мимо стола и угла комнаты, к большой, глубокой и теплой кровати, и вот уже засыпал с блаженным предчувствием, что завтра будет еще веселее, еще интересней и праздничней...

А когда проснулся, было светло, и не было ни Ольги, ни дяди Мишуни. Она уехала рано утром в Москву (передумала, видно, меня покупать), а он пошел по своим заготучреждениям.

Старуха поила меня жидким чаем и кормила вареньем с каким-то назойливым привкусом. Потом я немного гулял на улице,

то есть стоял, как дурак, у калитки, опасаясь непонятных соседских мальчишек и того, что если уйду, не найду дороги обратно. А потом вернулся дядя Мишуня, деловой, бодрый, но не слишком веселый, и мы снова попили чаю с вареньем, и поели, и угостили старушку котлетами — сколько же их там было! — и пошли на вокзал.

Весь обратный путь был бессмысленно длинным. Однообразные полудеревенские улочки, хмурые прохожие, заплеванной холодной вокзал. В вагоне он все больше молчал, подремывал; я смотрел в окно и изнемогал. Показалось в какой-то момент, что и в самом деле, все вчерашнее было сочинено, придумано то ли мной, то ли им. Что не было никакого такого вечера, ни саней, ни Сергея, ни Ольги... Но уже у калитки нашего дома он вдруг остановился, крепко сжал мою руку, так что я едва не заорал от боли, и, приложив палец к губам, сказал:

— Понял?

Я кивнул.

— Ну вот, то-то. Ты, брат, у меня молодцом. Выпрямись!

И толкнул калитку.

10.

— Ну-ну, расскажи, расскажи еще, сыночку, — говорит она, убирая пустую тарелку и подставляя мне новую, с картошкой, с котлетами, пахнущими совсем как тогда, словно теми же самыми.

— Не могу больше, все очень вкусно, но просто некуда!

— Ничего, ничего! — выговаривает она строгим, сварливым голосом. — Ты не спеши, я тебя не гоню, ты выпей еще, давай я тебе налью, и закусишь, вот и выйдет, что ты покушал. Ты кушай и рассказывай. А я буду слушать. Ты так много запомнил. Челябинск, носильщик, и как вы пилили дрова... Расскажи еще!

Ну да, расскажи тебе, думаю я. Нет, уж ты лучше еще поживи, поживи хоть ты...

Я все же пытаюсь добыть хоть что-нибудь, одинаково приятное и ей, и мне, но что-то никак не могу угодить одному из нас, то тому, то другому. И от этих тщетных усилий выплывает совсем уж ненужное, такое, что лучше бы вовсе не помнить.

То я вижу снова — подробно, отчетливо — ту жуткую сцену на кухне. Застывшее, довольное, почти благостное лицо Доры Семеновны; слезы тети Жени, эту тряпку в руках; и надо всем — ошалевшие, мутные, вороватые и жесткие глаза дяди Мишуни...

То как потом, уже после той сцены — то-то было и страшно, что по сле — он долбит в их запертую и странно замолкшую дверь:

— А вы мне не плачьтесь, что вы без мужа! Я-то знаю, почему вы без мужа. Погодите, и с вами еще разберутся, кто вы такая!..

А то я вспоминаю его донос, который он все-таки написал — на другого человека, по другому поводу, уже в новом доме... Белый лист, красивый, правильный почерк, равные расстояния между строчками. "Настоящим довожу до Вашего сведения, что гражданин такой-то из квартиры такой-то частным образом нанял электромонтера, который произвел, по всей вероятности... ("Вероятности" — писал дядя Мишуня). Мною лично установлено отсутствие вращения счетчика, ввиду чего в ущерб государству расходуются баснословное количество электроэнергии..."

Так и было написано: "баснословное"... Еле я его уговорил не посылать.

Наконец, я вытаскиваю, вроде бы, то, что надо. Но опять это связано со мной одним. Да и мелочь, в сущности.

— Помнишь, как он меня кормил по утрам?

— Да-да, ломтики, ломтики!

Он вставал всегда раньше всех, "с петухами"... На самом деле, часов в семь, позже петухов, но уж так ему нравилось говорить и думать. С петухами! Он будил меня и всегда перед школой заставлял съесть хоть один бутерброд. С повидлом, а когда появилась возможность — с маслом.

— Не спеши, — говорил он мне терпеливо. — Не хочешь, не надо. Ей-богу, никто тебя не заставит. Ты слушай меня и смотри сюда. Что ты видишь? Ну? Что — хлеб, хлеб! Еще раз: что ты видишь? — Б о л ь ш о й к у с о к! Невкусно? Совершенно верно, невкусно. Теперь гляди: фокус-мокус. Берем нож, желательное, острый, вот, я только вчера его наточил, разрезаем, еще, теперь поперек, на мелкие ломтики. А теперь — пробуй. Говорю тебе — пробуй! Ну? Вот то-то! А ты мне не верил. А ты не верил... А ты не верил...

Или приносил из сарая яйцо, свежее, только что из-под курицы, протыкал в нем иголкой две аккуратные дырочки, сыпал соль сверху на скорлупу и давал мне пить тонкую теплую струйку белка, который был тем хорош, что за ним непременно появлялся желток, для которого надо еще было расширить отверстие, расковырять его, но не слишком сильно, иначе он проглатывался вмиг, целиком, не оставляя почти никакого вкуса...

Или картошка... (Все что-то еда и еда.)

— Стой! — говорил он. — Имей терпение. Сейчас я тебе сделаю квац. Идет?

Он оставлял в кастрюле большую часть воды, разминал картошку вилкой, потом толкушкой и еще почти всю слитую воду постепенно тоже добавлял обратно. Получалось действительно очень вкусно, потому что, как он любил объяснять, для картошки главное — это крахмал, а он-то как раз с водой и уходит... Я и сейчас своим великовозрастным детям иногда приготавливаю такой же квац и выслушиваю их похвалы с самодовольной улыбкой, молча поминая дядю Мишуню...

Ах, да, вот еще, пожалуйста. Это уже с едой не связано. Как он забирал меня из больницы, помнишь, после воспаления легких, и какая-то идиотка врачиха сказала ему, просто, чтобы что-то сказать, что мне надо как можно меньше ходить, чтобы не было осложнения на ноги. И он нес меня на руках всю дорогу до дома, то есть сперва до троллейбуса, потом до метро, опять до троллейбуса, уже до нашего, и еще от него полтора километра крутых подъемов и спусков — с его-то сердцем!

Да, и еще, и еще, помнишь? Я вывихнул ногу, мне ее вправили, но здорово больно, я еле терпел. И он со мной просидел всю ночь, рассказывал всякие свои истории. Я засыпал, а когда просыпался, видел, как он, держась за голову, стонет и качается из стороны в сторону...

Он не выносил физической боли — и не только своей, и не только моей, а вообще чьей бы то ни было. И даже когда наша Джульба, помнишь? В ЖКО завели большую собаку, овчарку, и она ее покусала. Он не мог смотреть, убежал в дом, и там с ним случился приступ, едва ли не самый тяжелый...

— Да-да, сыночку, спасибо тебе. — Она уже вся в слезах, трясется. — Вот меня тоже скоро не будет, я лягу туда же, рядом с ним, и я хоть сейчас спокойна, что ты нас помнишь. Вот его вспомнишь и меня немножко, кто знает, может, и вправда, нам будет от этого легче?

Кто знает, кто знает? — думаю я. — Да никто не знает! Самый умный и самый знающий — как раз и не знает. Мы живем в этом мире, не зная самого главного, и ведь вот молодцы какие — не теряем духа, живем!..

Я прощаюсь, обнимаю ее, целую, говорю ей: "Ну-ну, не кисни,

держись...” — и еще, чтобы как-то завершить этот день, кое-что вспоминаю в метро, по дороге домой.

11.

Мое последнее воспоминание о дяде Мишуне — последнее ж и в о е мое воспоминание — относится к совсем недавнему времени, когда его самого в живых давно уже не было. Так что речь здесь уже не совсем о нем, а скорей обо мне...

Я был вызван — и не вызван, а застигнут на службе и доставлен на серой “волге” — в одно суровое учреждение, для мирной, впрочем, и тихой беседы на сугубо литературные темы. И не в учреждение, а в его филиал, один из бесчисленных, расположенный в совсем постороннем здании — если есть, разумеется, в нашей стране такие здания, посторонние этому вездесущему ведомству. Сопровождавший меня элегантный и стройный юноша набрал код на двери без вывески, заслоняясь от меня другой рукой (я, конечно, от души посмеялся над этой серьезностью, но не в тот момент, потом, через пару недель...), и мы с ним проникли в большую прихожую, из которой тянулся узкий коридор с дверьми с обеих сторон. Глухие высокие стены, неяркие лампы; мефистофельский острый профиль из желтой латуни, неожиданный тем, что уж слишком был ожидаем; учебный плакат “Пистолет Макарова” — как разбирать, собирать, заряжать (сразу выплыло змеиное слово “шептало”); и мирная передвижная вешалка из гнутого дерева, пустая, одиноко застывшая в пустом углу. Я снял и повесил пальто, прошел в конец коридора, вошел в предупредительно раскрытую дверь и там, за большим Т-образным столом увидел дядю Мишуню...

Вообще говоря, нечто подобное случалось со мной не раз и прежде. Чаще в кино, но порой и в жизни. Все советские чиновники тридцатых-сороковых были словно пародиями на него, и не те, сатирически изобличенные, пародийные по замыслу авторов, а старательно серьезные, положительные, деловые и мудрые. Но то ли я давно не встречался с чиновниками, то ли место само, где я находился, и способ, каким я сюда попал, были уж чересчур необычны... То ли допустимость любого исхода, обострявшая до предела, у бездны на краю, воображение и восприятие... Но такого ожившего своего дядьки я со дня его смерти не видел. Тут было так, что любая деталь не опровергала, а дополняла: и рост, и жесты,

и вот он заговорил — голос и способ произнесения. Словарь был, конечно, богаче, грамотней, разговор шел на тему, дядьке мало доступную, но все это было как бы неважно, дело было как бы не в этом...

Он выглядел старше как раз на те самые годы, дядьке было бы сейчас примерно столько же. Разумеется, русский, и даже скорей украинец, но и это сходилось. Дядя Мишуня по внешнему виду был как раз русский и даже скорей украинец. Гладко бритая рыжеватая голова, форма черепа, шеи, размер и форма ушей (отсюда, из безопасного далека, я даже мысленно всматриваюсь, здорово ли левое...), широкие плечи в синем бостоне (тот самый костюм, в котором в Серпухов... нет, конечно, бостона теперь не бывает, но нечто подобное), руки с крепкими туповатыми пальцами, с коротко обрезанными ногтями (может, тоже пилит где-нибудь у себя на даче?). Еще бы светлые бурки... Ног видно не было, и я их легко дорисовал, эти бурки. Это был точный дядя Мишуня, в ы л т ы й, как он сам бы сказал. Но конечно же, поумневший, обученный, которому раз навсегда объяснили, как надо и как не надо. А взамен отняли всю игру, всю необязательность и никчемность, и от этого щеки его стали серыми, а губы сухими и жесткими...

Я так тогда растерялся от этого сходства, что не спросил ни фамилии, ни звания. Так до сих пор и не знаю и только надеюсь — ненасытное мое тщеславие требует — что хотя бы не ниже майора. А где-то в дальнем уголке души шевелится: полковник! Непременно полковник. Такой пожилой — ну никак не ниже...

Он спрашивал — не враждебно, но кратко и сухо. Я же так расслабился, так расплылся, что сразу наболтал с три короба — и все лишнее, лишнее. Нет, я не рассказал никаких секретов — но только потому, что никаких секретов не знал. И я не назвал ни одной фамилии — потому что он меня ни о ком не спросил. Но я разговаривал, разговаривал, по-домашнему, весело, облегченно: герой, контекст, читатель, писатель, интеллигенция, революция... Вот дурак-то, наверное думал он, вот лопух-то, с такими только работать. Главное, не оттолкнуть, не спугнуть...

Наконец, я остановился, схватил себя за руку, огляделся и подумал оторопело: Ну и ну! Как же и жить после этого? Не-ет, чур меня, сказал я себе, чур меня, какое там сходство, это так, с перепугу мне показалось. Если б живой, подлинный дядя Мишуня, вот такое долгое время сохранял эту важность, я бы счел, что он ока-

менел, что он умер. В нем, даже в самом неподвижном, даже в самом надутым, в нем всегда внутри бушевал огонь, и какая-то то ли еврейская, то ли просто дурацкая искра поминутно прошивала его насквозь. Другой, другой!..

Он словно почувствовал, что я ускользаю, встрепенулся, как марсианин Рэя Бредбери, и точным, единственно верным движением вдруг постучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака; затем, тоже абсолютно правильно, распластал ладонь перед собой на столе и сказал:

— Вы не думайте, я верну!

Это он перед тем попросил рукопись еще не опубликованного романа.

— Я верну! — сказал он и, как и следовало, повторил тем самым, собым, назидательным, просительно-угрожающим тоном с неизменным подъемом в конце:

— Я верну-у... Я верну-у...

И даже еще пожевал, пошевелил губами, словно добавляя недостающее: "Как пить дать" и "честное мое слово..."

Но было поздно.

Было поздно, я уже ускользнул, я уже был не здесь, далеко, со своим настоящим дядей Мишуней, обнимал его и просил прощенья у его небезгрешной, но все же невинной тени.

1974—86

Москва

Ю. Карабчиевский — известный советский прозаик, автор ряда романов, повестей и рассказов (опубликованных, до последнего времени, только в западной эмигрантской прессе) и нашумевшей полемической монографии "Воскресение Маяковского"; живет в Москве.

СТИХИ

Собрат

Ты посетил меня тайком
и в изголовье стал.
Себя считая знатоком,
стихи читал с листа.
Казалось мне, что я, как труп,
лежал перед тобой, —
а тело завтра заберут
без крышки гробовой.
Ты мне завидовал тайком
и вслух боготворил,
и снисходительным кивком
отправил на распыл.
И вслух читал мои стихи,
потая и дрожа,
как будто вестником стихий —
ты молнию держал.
Как будто чувствовать ты мог,
что Парки ждут меня
и молча вышли за порог,
все окна затемняя.
Что вечная моя душа,
во всю раскрывшись грудь,
уже металась, не дыша,
на дальнем берегу.
Но ты любил меня. Ведь я
не знал, что боль живет, —
а ты, мой взгляд не отведя,
кивнул на эшафот.

* * *

А я отпою Россию свою,
я ее, болезную, выстою,
я в ней, безлиственной, гнездо совью,
расстелю полотенце в нем, мамино, чистое.

Далеко моя мама, глаза синие,
палестинское небо в ее зрачках,
облака наплывают, а небо в инее,
лишь чернью спичечной в нем чиркать.

А не запалишь. Как плоть, бесхитростна
моя к ней жертвенная любовь, —
на паперти робким обрубком выкреста
никак не достану еврейских лбов...

Как в колокол лениво и сходу бьют
или часы снимают настенные,
будет в России и мой дебют —
мои в ней из детства года незабвенные.

За синью, за чернью — свечой затепленной,
палестинской звездочкой, небом вспять —
обернусь полотенцем, зажгусь как пепельный,
отпою Россию свою на ять.

Мон-Плезир

Ракушечный, игривый Мон-Плезир.
Приют Петра — расцвеченные зерна
голландских изразцов — Россию поразил
и сдвинул к западу, на край ее озерный.

Пеньковой трубкой подданным грозил.
Глаза округлые. К щеке землисто-вздорной
прихлынувшая кровь, когда он по грязи
шагал, ботфорт нетерпеливо вздернув.

Залива финского ступенчатая рябь,
в трубу подзорную всплывающий корабль,
на светлых парусах, в чешуйчатой оснастке...

Переливается и вертится буссоль
в руках его, — Россию, как мозоль
свеженатруженный, поглаживая с лаской.

Гомер

Что тебе придумать вмиг,
чтоб, по крайней мере, польза
оказалась... Или возле
изголовья был ночник.
Что тебе мой ученик
вдруг сыграет на кифаре?
Он сегодня не в ударе,
головой своей поник.
Ночь темна и ветер стих.
Звезды Аргусом склоненным
смотрят на тебя влюбленно
сквозь ресничный нервный тик.
Словно кто к тебе приник,
или к яблоку зубами
прикоснулся, — страх забавен
и в себе рождает крик.
Посреди холмов крутых
дрогают стены Илиона.
Ночь мерцает, как колонна,
подпирающая миг.
Или это только стих,
созидающийся слепо
над безжизненным, как слепок,
обликом без глаз твоих.
Но величественно дик,
весь в доспехах, муж ахеян.
Грозный враг его развеян
и, как тень за тенью, сник.
Но не там, где бьет родник...
Муза — трепетная дева,
как богиня в пятнах гнева,
с вечностью тебя роднит.
Или это твой двойник
старится, как хор в поэме,

повторяясь, чешет темя...
Что ему твой ученик?

Петр

Я дома не был сорок дней.
Горит свеча и пол натерт.
Ученики бегут к родне,
со мной остался только Петр.
Но кровля прохудилась вся,
и под стопой скрипит крыльцо.
И ослик в стойле без овса,
и мать с опущенным лицом.
Я все это увидел вмиг:
и пол, сраженный ночником
свечи, куда мой ученик
ступил, глотая в горле ком.
И кровлю, полную прорех,
звезду, блеснувшую с крыльца,
и, как надколотый орех,
крутую голову отца.
И, значит, так тому и быть,
что дом к рассвету распростерт,
что пламя встало на дыбы,
когда свечу приблизил Петр.
И освещенный облик мой,
застыв в глазах его сухих,
уже являл собой конвой,
когда кричали петухи.

Воскресенье из мертвых.

Я увидел дивный сон
из своей могилы твердой,
как одетые в виссон
воскресают вдруг из мертвых.
Как возвысившись стеной —
трубным гласом — наудачу,
кости блежут желтизной
и, скрежещущие, плачут.

Как рождается душа
в них и обрастает плотью,
как они, едва дыша,
в дверь подземную колотят.
Нет иных для мертвых дел.
Трубный глас растет все шире.
Будет праведным удел —
встать в ином рожденном мире.
Я напрягся, как ни слаб
был мой дух, стоящий прямо
и зовущий. Словно хлябь,
надо мной разверзлась яма.
Комья твердые земли
падали, как семя в лоно,
на истлевшие мои
груды в пурпуре виссона.
Значит, это снова я,
сердце бьется, взор мой в оба
глаза светит, явь объяв
мне, восставшему из гроба.
Мне, прозревшему, тотчас
показалось, что из прежних
я один воскрес, дичась
между праведных и грешных.
Что моим сухим костям
не пристало мясом греться.
и, болезненно частая,
одиноко бьется сердце.
Что Всесильный без суда
приговор бесповоротно
объявил мне навсегда —
воскресением из мертвых.

После зимы.

После зимы, как после чумы,
город огромный возле реки.
Возле — не после, и не умолчим, —
город, как камень, пускает круги.
Тонет — не тонет, а камень упал,

воды не вспять потекли, а ручным —
город огромный, как пес, заплутал
после зимы, как после чумы,
Возле — не после, а свесив язык,
сплюнешь — в мгновение станет мучным, —
город, как пес уцелевший, возник
после зимы, как после чумы.

Вечность

Слишком придирчива, слишком ленива
ветренная наша судьба...
Неповторима, неуловима
полям стрекочущая молотьба.

Сыплются тяжкие, в золоте, зерна,
знойная их окружает пыльца...
Рокот мотора навязчивый, вздорный, —
словно преследуют беглеца.

Сукровицей — словно каплет из носа,
гул в голове — и, глаза затемняя,
круглая, мягкая, нет ей износа,
к солнцу закатному катит земля.

Неподражаема, нерукотворна,
травами пахнущая, как шартрез,
ходит кругами и тянется к горлу...
В каждой расщелине свежий порез.

Тяжко ложатся в колосьях стесненных,
бликами солнечными шелестя,
зерна — и люди в последних хитонах,
как золотое руно, их шерстят.

Словно в заблывших душах овечьих —
к ближним холмам, потемневшим вконец,
вечность, увенчанная на увечье,
пялит зрачки на терновый венец.

Полночь

Двенадцать бьет. Ржавеет лунный бок
на кожанном ведре, черпнувшем из колодца
горсть влажного песка, верблюжьей шерсти клок,
истертую подкову иноходца.

И я гляжу, любви твоей байгуш,
как ночь до дна расплескивает косы, —
и на груди, подставленной ножу,
свет от луны желтее абрикоса.

Двенадцать бьет, и всадники сопят,
сдвигаясь в круг, — и стерегут мгновенье,
когда еще им выйдет полоскать
хвосты коней, окрашенные хенной.

Так далеко за полночью Сейхун,
вода прозрачна в каменистом русле,
где, первый след подковой изогнув,
по самый пах в ней лошади погрузли.

Двенадцать бьет. Двенадцать древних лун,
сменяя дни, сужают глаз совиный
над каждой тенью, сникшей в Эрдерун
за бархатной и жаркой половиной.

Так я гляжу в разлуки узкий зев,
чуть движимый дыханием бархана...
Двенадцать бьет, как жилка на виске,
пульсируя и полночь охраняя*.

* байгуш — сова
хенна — хна — знаю, что пишут чаще — хна, но в Ср. Азии говорят и
пишут — хенна.
Сейхун — Аму-Дарья
Эрдерун — райский уголок, гарем в раю.

Е. Койфман — поэт; репатрировался в Израиль в конце 1988 г., живет в Нетании.

1.

В царские глаза смотреть,
как на смерть идти...

Жил царь Ботут, и весь ужас
тут.

Вгосударившись, вел себя со-
вершенно мерзостно, накудесил
много в вертячем бесовании,
козлом скача по хоромам, — с
ним же и от него же земля ис-
пустила вопль.

Вгружал меч в утробы, ввер-
гал в ям глубины, полные ядо-
витых зверий, на сковороде пек,
за ногти щепы вбивал, головы
рубил всласть, чтобы не высоко-
умничали, языки рвал до вилок,
заживо варил в кипятке за лу-
кавое умышление, возвышал и
заново обращал в ничтожество.

У царя голова — чтоб корону
носить.

У царя булава — чтоб страш-
нее быть.

Брудастый Алеша, царский
любимец — сведен в подпол и
шнурком удушен.

Смывалов Тиша, певчий
дьяк — посечен на части и соба-
кам кинут.

Гладкий Антон, спальник ца-
ря — четвертован и по кольям
растыкан.

Лапин Юшка, царевичев ку-
рятник — в шкуру зашит мед-
вежью и псарями затравлен.

Князь Юрий Федорович Со-
рока Засекин, царский комнат-
ный сторож — веревками пере-

Феликс Кандель

**ОХОТНИК ДОБЕЖИТ
ДО ИСТОЧНИКА**

терт на площади, всенародно и надвое.

Даудов Василий, заезжий персианин — пожжен огнем, порван клещами, подпален составной огненной мудростью — поджаром.

От ужаса горла сохли и уста слеплялись — у виновных и у неповинных.

Был смешлив батюшка-царь, диким хохотал голосом на корчи слуг своих безответных, угли подгребая под ноги, и по городам-селах брали на государя веселых людей, шутов со скоморохами.

Чтобы смеяться батюшке во всякое время, не дожидаясь пыточных корчей.

А когда утекали от него за рубеж, в Литву-Крым, к туркам — поганым иноверцам, свирепел царь, кровь лил без меры за великие изменные дела, знак подавал страшным криком бить-мучить кого ни попало, обижался даже на беглецов за черную за их неблагодарность.

Прими смерть тут, а не жизнь там.

— Праведно ли я караю? — взывал с высокого крыльца. — Изменников! Лютыми муками!!

А народ отвечал в голос, разбегаясь в ужасе:

— Будь здоров и благополучен, батюшка-царь! Преступникам и злодеям — достойная казнь!..

А край безлюдел пока что.

Вымирал и обмирал без пользы.

Смертные копил раны и вечное кругом увечье.

Нищие плодили нищих.

И нищие нищими помыкали.

2.

Деревни Талицы народ пашенный в дурь ударился с перепугу.

Пересидеть в юродстве долбежное время.

С дураков какой спрос?..

По заре выходили со дворов бабы, боталами на шее звенели, чтобы в лесу не затеряться.

Пастухи выпасывали их по полянам, где грибы, малина-земляника, а они шагали — головами согласно кивали, под щелканье кнутов торопливо сбегались в кучу, тяжелой мотая грудью.

Коров со дворов не сводили.

Коровы стояли смирно, по паре, меж рогов веревка протянута — для просушки бельишка.

Петух на канате дом сторожил.

Баран в зыбке лежал.

Коза на печи грелась.

Малые ребятишки гурьбой бегали за насадкой и зерно склевывали.

Ребятишки постарше камни в колодец кидали и бултыхи считали.

Парни с девками красоту наводили и блоху ногою давили.

Одни мужики работали без передыху, себя не жалели.

Двое на сосне сидели и на Москву глядели.

Москва была далеко – не разобрать, да и им не к спеху.

Двое под мостом лежали и заезжих ожидали.

Мост покривел давно и разохся, мимо Талицы никто не ездил, а им и не надо.

Двое отмывали у третьего родимое пятно: мочалкой оттирали и песком драили – который уж день.

Еще двое небо подпирали, чтобы на головы не легло: кол ткнут туда, кол ткнут сюда, и держалось – не падало.

В речке толочно месили – на всю артель, солью приправляли, ложками мешали до нужной густоты, а река текла себе важно, полегонечку, шепотом выжурчивала свое: доньшко светлое, берега бархатные.

Все были при деле.

Все прикидывались.

Чтобы жизнь доставшуюся пронесло без задержки.

К вечеру, после трудов долгих, с песнею шли по домам, а бабы уж на пороге встречали, боталами на шее качали.

И только малоумный старик Бывалыч, вдумчивый и степенный, в игры не играл, дурака не валял, а по полю ходил из конца в конец и делом занимался: из горсти золу сеял.

Дождичком прольет – солнышком пропечет – к зиме дрова вырастут.

Вырастут дрова – протопим печь – новую золу высеём...

3.

А возок уже катил в их сторону по грязям-ухабам, через поля-пустоши: прямо ехать – три дня сроку, грязи с болотами объезжать – три года.

Жались к земле поселения, как нуждой прибитые.

Проглядывал народ по избам-землянкам, бос и ободран.

Лукоеды-огуречники.

Гущееды-краюшники.

Лапшееды с водохлебами.

Голодран с голодуном.

— Вчера приходи, — отваживали его неласково, и он катил дальше, скучный и раздражительный, в глушь забивался, в малохоженность, в край непуганых птиц: спрятаться и пересидеть.

Лес стоял без краев.

Лес-непролаз.

Не лес — море, которое не переплыть, не вычерпать, дна не достать.

Молодым войдешь — стариком выйдешь.

Прятались в лесу поселения — от поборов, войн, вечных пожаров лютости: время было такое — только беду отводи.

Лошадь переставляла ноги без особой охоты, седок взбулькивал на ухабах и ко сну клонился, а щека дергалась, а щека все дергалась — не уймешь — от самой от Московской от заставы.

Попался царю под милостивое благоволение, отпущен без возврата на отдых-кормление, пожалован на прощание гербом фамильным — кукиш на лазоревом фоне, пожалован деревенькой за шутейную службу: которая приглянется, и та твоя.

Но нагнали у заставы слуги в черных одеждах, как тьма кромешная, руки покрутили, ножом пузо пощекотали: батюшка-царь вдогон послал.

Главный кромешник Схорони Концы, худородный и скверный, всякими мерзостями исполненный, попер на него жарким конем, нагло выкаркнул с высоты царское повеление:

— На части рассечь и под лед спустить.

Тут же завалили на траву, голову заворотили, горло ножу открывая, — это у них скоро.

— А где лед-то?!.. -- захрипел, вырываясь. — Батюшка-царь велел под лед. Безо льда не согласен!..

— И верно, — сказали. — Льда нету. Живи пока что: до зимы обождем.

И ускакали назад, наглые и довольные.

Ты, шут, шутил, — пошутим и мы с тобой.

Хохотал, верно, царь от пересказа: "А где лед-то?! Безо льда не согласен"; хохотали бояре — попробуй не похохочи; а шут Капсирка тузил шута Матросилку, Лгало дразнил Подлыгалу,

злой карла Страхулет, не сгибаясь, гулял под обеденным столом и бояр щипал за причинные места, а они лягали его в ответ, пребольно и неприметно, — а щека дергалась и дергалась без конца, и веко на глаз натекло, похоже, теперь навсегда.

Был он рыхл, грузен и сонлив, мякотью оплывал по-бабьи в глубинах возка, — а ведь высмотрел его когда-то батюшка-царь из ватаги скоморохов, черноглазого, румяного, смешливого, кувыркливого, пальчиком поманил к себе, и он без раздумий вскочил на запятки.

Горох Капустин сын Редькин — взят ко двору в дураки.

Послужить батюшке сердечным хотением.

Напяливал цветастые бабьи одежды, насурмливал брови, нарумянивал щеки, подкладывал груди повыше и позаманчивее, под мышки совал сушеные телячьи пузыри и стыдные издавал звуки — к месту и не к месту.

Боярин шагнул, а пузырь — прук.

Дьяк поклонился, а пузырь — трук.

Посол рот раскрыл — бздрук.

Боярин пугался, дьяк спотыкался, посол от срама валился замертво, — но хохотал батюшка-царь на невиданную прежде потеху, кисла до слез царица-матушка, гоготал царский двор — попробуй не погогочи, и даже слуги-кромешники, звери кровоядные, ухмылялись поощрительно на разрешенное баловство.

Работа не тяжкая, еда не постная, перина не жесткая: пук да тпрук.

Забывал порой скидывать одежды, девкой бегал по хоромам, привычно подбирая подол, и постреливал на сторону подведенным озорным взором.

Вот только батюшка-царь глаз положил на чернявенькую, румявенькую да смешливенькую: батюшке-царю как откажешь?..

Прыгнул на запятки — отслужи свое.

А возок уже въехал на мост, тяжело проскакал по бревнам, колесом завалился в щель — и завяз.

Приехали.

Проснулся седок, повел по сторонам глазом: двое на сосне сидели и на возок глядели, двое из-под моста вылезали и рты на него разевали.

Бороды у седока нету. Груды отвисли. Зад отклячился.

— Здравствовать тебе, боярыня-матушка!

4.

Глядел на них. Не моргал. Лоб щурил.

-- Вы кто?

А они -- радостно:

— Мы-то?!.. Мы, матушка, баловники. Куролесы-глазопучники. Блекоталы с шалопутами, краснобаи-потешники, ахинеящико-чепушинники — хоть на что хощь!

Стояли, глаза пучили, ногами выплясывали от избытка желаний: молодые и нестеганые.

Обиделся на их веселье-молодость, обиделся за свою рыхлость-немощность, сказал грубо:

— Как звать?

А они:

— Сегодня или когда?

Подумал:

— Вообще.

-- Нету у нас такого — вообще, — сообщили они с восторгом. --
Сегодня мы — Анашка да Ивашка.

- А вчера?

— Вчера, — важно сказал один, — я был Францел Венциан, а он —
Волчий Обьедок.

-- Кто Обьедок? — грозно спросил другой.

— Ты Обьедок.

-- Чей?

-- Волчий.

.. А ты?

— А я — Францел Венциан.

— Понятно.

Бяк! — и по уху.

— Ты это кого? Ты кого это?! — раскричался. -- Францела?!

— Его самого.

— Венциана?!

Шмяк! — и в ответ.

-- Хватит! — прикрикнул на них из возка. — Не то по головам
пойду.

— Ладно тебе, — сказали. — Мы уж привыкли — отвыкать жалко.
И бяк! И плюх! И снова — шмяк!..

— Вот вы у меня отвыкнете, — пригрозил. — Батогами по спине.
Встали. Поглядели с интересом.

-- А ты кто есть?
— Кто надо. И грамота царская при мне.
Подпрыгнули. Под ноги кувырнулись.
— Прости нас, ваше всячество! — заорал один.
· Прости нас, ваше гдечество! — завопил другой.
— Ваше кудачество!
— Ваше комучество!
-- Отчегочество!
— Почемучество!
-- Зачемчество и затемчество!
· Иззачегочество и иззакогочество!
И поглядел победно.
А тот поискал лихорадочно, ответа не нашел: бяк! -- и по уху.
· Кончили? — спросил из возка.
-- Кончили, матушка.
Бяк-бяк!
— Возок тащите. Не ночевать здесь.
В затылках почесали:
— Это не мы. Это Кирюшку звать надо. Он у нас силач.
— Зовите Кирюшку.
— Да у него сон — по неделе. Спит — с него пар валит. Тут возок оставь. Пусть стоит.
— Да мне ехать надо...
— Куда тебе ехать? Оставайся с нами. Еще пограбят в пути.
Подумал.
Поглядел.
Прикинул на глаз.
Деревенька на бугре — Божья проталина.
Речка понизу — журчание тихое.
Сосняк с березняком.
Бабы боталами звенели. Ребятишки бултыхи считали. Мужики небо подпирали.
Чем плохо?
— И то, — сказал. — Тут стану жить.
Которая приглянется, и та твоя.
И полез из возка.
— Матушка! — завопили потешно. — Да ты никак мужик?!
А он их по уху: шмяк-шмяк!..

Горох Капустин сын Редькин — по должности дурак — был смышлен как бес, и тем только спасался.

Многие были смышлены при царском дворе — не он один, но те почета добивались по уму, чинов с наградами, мухами залипали в обманчивом меду, а он только лапки макал в сладкую сытость, а брюшком не лез, и дураком прикидывался — в меру.

Те, что прикидывались не в меру, ходили пред царем в великом подозрении и участи своей не обошли.

Царь выглядывал во всяком лукавом умышлении, и тогда уж возгорался пожар лютости — без пощады.

Место было — гнездо змиево.

Каждый жалил каждого и яд пускал без задержки: сегодня -- ты, завтра -- тебя.

А царь жалил всех.

Был он зол, капризен и привередлив, в гневе испускал пену, словно конь на бегу, внезапный любил наскок, нежданную казнь, зевал на обычное пролитие крови и зрелища любил потешные -- от скуки дней и изуверства природы.

Травил спускным медведем, поливал кипящим вином, палил свечами бороды, метал с моста в реку, из царской руки поучал железом: все несуть.

Взяли монаха ангельского чина, на бочку посадили с порохом: "Ты ангел. Подобаает тебе на небо взлететь".

И взорвали.

Погнали бояр на пыточный двор, как на прогулку-ознакомление, и посреди мук-стонов-пламени спросил царь злодеев-кромешников, угрозу тая в голосе: "Ну, кто из бояр нам изменяет? Из кого жилу тянуть?"

И пальцем повел по кругу.

Бояре слабели от жути и похохатывали через силу, кромешники примеривались привычно, каким путем мучить, а царь наслаждался, вида не показывая, и струнка дрожала внутри от вечного парения похоти.

Подмять под себя слабого и покорного, взять, насладиться, отбросить за ненужностью — самая она власть-сласть.

— Увы мне грешному! — вопил при народе и лбом бился об пол. — Ох мне скверному! Горе мне окаянному!..

А глазами уже шнырял по лицам, новую искал измену, новую жертву:

— Бешеная собака! Злобесный умышлитель! Паче кала смердай!!.. В воду его!

Топили народ в пруду без счета-количества, рыбы жирели от обильной пищи — отменно вкусные и к царскому столу пригодные, а царь ел — нахваливал, и бояре ели — давились.

Сегодня ты ешь, завтра — тебя.

А когда перебирали людишек по-простому, без затей, на Поганой луже, — из пищалей отделявали или ручным усечением, — обижался по-детски, будто обносили его желанным подарком, гневался на слуг своих тупоумных за скудное кровопролитие — “Все самому приходится, все самому...”, но изжаривали ему на потеху бояр-переметчиков на железной сковородке, заживо и целиком — и тишел, и мягчел, и одаривал щедротами кого ни попадя.

Горох Капустин сын Редькин все перенес и выжил на удивление многим.

Беду пронесило мимо, ядром возле уха.

Пугало, но не убивало.

А он только дураком прикидывался в меру и пузырем трещал — трук да бздрук, но привыкли уже давно к его пердятине, как к звону кружек за столом, как к стону мучеников на дыбе, и удовольствия от этого не получали.

Заелись, сволочи!

Остарел. Обабился. Наел подбородки. Провис пузом. Мешками под глазами набряк. Посекся морщинами. Замызганным подолом мел по полу.

Неряха-бряха.

В один из пиров поднесли ему чашу питья с явным намерением, от батюшки-царя — известного отравителя: царю как откажешь?

С этого зелья трещал потом без пузыря, трещал и подпрыгивал, подпрыгивал и снова трещал, как изнутри разрывало, а все верещали вокруг до одури, по полу от счастья катались, и сам царь скакал в маске-харе, задирая голенастые ноги, а за царем заскакали и другие.

Ты, шут, шутил, — пошутим и мы с тобой.

Старый, знатный, в битвах посеченный воевода не пожелал с хамьем в харе плясать, с гневом отшвырнул прочь: плеснули на него горячими жирными щами из котла и ножом полоснули — перек горла.

А кто полоснул — неясно: все в харях.

Тело кровью исходило на капустные ошметки.

Шут кишкою трещал.

Трещал и плакал от боли-обиды старый пуганый шут в бабьем заношенном сарафане, Капсирка тузил Матросилку, Лгало задирал Подлыгалу, карла Страхулет блевал от ужаса на боярские сапоги, а бояре пинались в ответ яростно и неприметно.

Скакали вокруг упыри-перевертыши — харями срамными, рогатые, пучеглазые, оскаленные, с вывернутыми носами-губами: космы волос дыбом.

И волчи глаза проблескивали в щелочках харь, как нож в худых ножнах.

Встали.

Запыхались.

Посбрасывали маски наземь.

Хари харями...

А шут ослабел кишкою с той поры, по нужде и без нужды испражнялся в сарафан, и прозвище ему пошло по хоромам — Воняло.

.. Поезжай-ка ты прочь, — велел царь. — Уж больно вонлив. И выдал грамоту на дорогу...

6

Горох Капустин сын Редькин по прозвищу Воняло вышел поутру из избы и встал на крыльце для обозрения окрестностей. Обступала его Талица, глазастая окнами.

Шумели вокруг леса, нерв остужая.

Выжурчивала под бугром речка, ковром выстилаясь.

Принимай и владей!

Народу на улице не было, каждый с утра в дурь ударился по привычке, и только малоумный старик Бывалыч сидел на чурбаке неподалеку и рыбу удил из колодца — обстоятельно и всерьез.

Наживлял червяка, поплевывал на него для верности, закидывал аккуратно и каменел в терпении.

Клевало у него не часто, леску утягивало до дна, но ловились одни только лягушки, мшистые и пучеглазые, которых он и укладывал на припеке.

Все по деревне дурака валяли, один он делом занимался, лягушек сушил на зиму.

Еда не еда, а запас нужен.

— Эти, — проговаривал себе под нос. — Дурни. Еще придут — напросятся.

Горох Капустин сын Редькин шагал к нему босолапый и враспояску, ступни зарывая в прогретый песок, и осматривал на ходу хмуро и подозрительно.

Время было не раннее, солнце припекало оголтелое, но он всегда вставал поздно, даже если не спалось: с привычек прошлого.

Батюшка-царь брал его в молодости на постель, в первом цвете возраста, и спал потом долго, наигравшись, а шевелиться под боком не велел — до света дня.

С того и привык вставать поздно.

С того и бывал по утрам хмур и раздражителен.

— Ключет? — спросил зло, как задирался.

— Ключет, — ответил малоумный и головы не повернул. — Садись давай рядом. Корма запасай.

Охнуло и зевнуло поверху, зевнуло и снова охнуло, как пластом обвалилось. Весною. В овраге. Подмытое снеговыми водами.

Торчала голова из избы, возле трубы, над трепаной крышей — лохматая, в перьях-соломе, и зевала оглушительно, с оханьем-подвыванием.

Глаза синие.

Нос мятый.

Уши — варежки.

Прозевалась всласть, пощурилась на солнце, сказала густо: — Авдотька, ставь на стол обедать.

А из избы — нудным зудением:

- Какой обедать? Не ужинали еще.

— Ставь ужинать.

-- А чего ужинать? — зазудело. — Что принес, то и ужинать. Спать ложись лучше.

-- Ты кто? — спросил его шут.

-- Кирюшка, -- ответила голова. — Силач силачом. Сплю много, а ем мало. С чего так?

Воняло поглядел на него, примериваясь:

.. Крышу ты повертел?

.. Я, — сознался. -- От двери и до лавки. Чтобы не нагибаться: пройти и лечь.

— Вылазь, — приказал.

Голова проплыла до двери, убралась назад, избенка сотряслась заметно, и выполз наружу человек — размеров устрашающих.

За ним выскочила его жена, злочая и крикучая — змея Авдотьяка.

По пуп мужу.

-- Беру тебя, — сказал Воняло. — Со мной ходить станешь.

— А чего делать?

-- Чего скажу, то и делать.

— Некогда ему, — заверещала Авдотьяка. — У нас капуста неквашена. Репа непарена. Грибы несолены. Огороды невскопаны. Сны невысмотрены.

— Дай ей тычка, — велел.

Забоялся:

— А можно?..

-- Можно.

— А чего мне за это?

-- А тебе за это ничего.

Дал ей тычка, и Авдотьяка улетела за бугор.

— А мне ничего? — с сомнением.

— А тебе ничего.

Понравилось.

— Тогда ладно.

И дал тычка старику Бывалычу.

Это Воняле не понравилось.

— Давать будешь, когда скажу.

И пошел по деревне.

А Кирюшка следом.

У моста, где запруда с омутом, крик звенел с хохотом, брызги, буруны на полнеба.

Два баловника, ахинейщики-чепушинники, оседлали усатого сома и гоняли на нем по омуту — только стон стоял.

— Эге-ге! — орал. — Сомина. Чертов конь!! Укротим — пахать на нем станем! Эка выгоды будет! Эка выгоды!!..

Подлетели, развернулись, лихо осадили у берега: соминые усы — вожжами — намотаны на кулак.

— Здравствовать тебе, ваша вельможность! Поклон тебе бьем! Сегодня мы — два дурака втроем. Ждан, Неждан да Пузиков Иван.

Сом извернулся, шмяк-шмяк по уху ... и на дно ушел, а они вынырнули, отфыркнулись, завопили в голос:

— Эй! Где Пузиков? Где Ваня — друг наш?!

— Не было Вани, — сказал Кирюшка. — Я бы углядел.
— Как так не было?! А имя на что? Есть имя, и человек должен быть. Может, это ты — Пузиков?

-- Не, — сказал силач. — Я Кирюшка. Может, это сом — Пузиков? И они задумались.

— Не, — сказали грустно. — Утонул наш Пузиков. Утонул Ваня, а имя осталось. Будь ты теперь Пузиков, барин. Не пропадать же добру.

Горох Капустин сын Редькин набылчился на них, сглатывая раздражения комок, и жестко пощурился.

-- Беру, — сказал. — Будете при мне.

— А чего делать надо? — спросили.

— Чего делали, то и делайте.

— А нам за это чего?

-- А вам за это корма.

Набежала из-за бугра змея Авдотька -- и с кулаками на Кирюшку:

— Чтoб тебе выщипало! Язва тебе в брюхо! Уведи тебя татар!!..

— Экая ты блежотала, — сказал Кирюшка. — Дать ей тычка?

— Дай, — разрешил.

-- А мне за это корма?

— И тебе корма.

И Авдотька улетела за тот же бугор.

7.

Горох Капустин сын Редькин сидел на бугре, на резном табурете, и владения с высоты оглядывал.

Веселили его баловники-потешники — при желании.

В избе на печи прела под одеялом Кокорюкова Пелагея, девица на выданьи, готовая к немедленному употреблению.

Самовар кипел в ожидании.

Водочка-закуска.

Сладкие заедки.

А силач Кирюшка — по должности горлан — кругами ходил по деревне и тычки раздавал.

Чуть что -- сразу за бугор.

За Кирюшкой -- на шаг позади — втрusочку бежала змея Авдотька, злюка-баба, и советы советовала:

— Ты бы, Кирюша, поспал.

– Какой поспал, — отвечал на ходу. — Какой поспал?! Вся деревня на мне. Кому — спасибо, кого — за бугор.

Новые времена пришли в Талицу, новые — на удивление — порядки.

Великое благоденствие с тишиной и управа на всех.

Никто уже на сосне не сидел и на Москву не глядел.

Пришел Кирюшка, потряс дерево — они и попадали: Беспортошный Мина да Грабленный Роман.

Никто под мостом не лежал и гостей не встречал.

Прошел мимо Кирюшка и лбы отщелкал: Сердитому Харламу да Нехорошке Киселю.

Небо кольями не подпирали: пусть валится. Пятен родимых не отмывали: так проживет. Толокно в речке не месили, боталами не звенели, бултыхи не считали, а дружно вспарывали землю сохой, чтобы провиант был.

При виде Кирюшки даже куры неслись без передыху, свиньи попросились, коровы молоком исходили, бабы ребятишек рожали.

Все были при деле, все старались, а в обед Кирюшка жрал до выпуча глаз, и Авдотька, надсаживаясь, чугуны от печки подтаскивала да желала втихомолку:

— Чтоб тебе глотку заклало!..

Но вслух сказать остерегалась: чуть что — сразу за бугор.

Горлан Кирюшка был зорек и вездесущ, следил за деревней старательно и прохладжаться не давал, а в редкие моменты объявлял зычно:

— Я иду до ветра мочиться.

И все тогда отдыхали...

Радоваться бы теперь на всеобщее старание и доходы подсчитывать, но Горох Капустин сын Редькин хмур бывал неделями, вял и раздражителен на радости жизни.

Отпуская его на отдых-кормление, подмигнул царь дурным глазом, и кромешники тут же подхватили под руки, снесли в подпол — и в гроб уложили.

— Не велико ли? — с ухмылкой спросил Схорони Концы и крышку прихлопнул, гвоздь вбивая со смаком.

— Велико!.. — заверещал изнутри в ужасе. — Этот не по мне! Бултыхаться стану!..

— Ладно уж, — разрешили. — Живи пока. Подрастешь — твой будет.

Отъезжая от царских хором, слышал гогот из дома, залиvistое

жеребьячье верещание, рожи кривые из окон-дверей, — “Подрастешь — ха-ха — твой будет!” — но екало с той поры под сердцем, как жила надорвалась, дыхание обрывало на подъеме, безрадостно было и беспокожно.

Выглядывала из избы прогретая на печи Кокорюкова Пелагея, руки тянула — принять и усладить, но он ею пренебрегал — что холодной, что подогретой.

Кипел самовар с раннего утра, кисла закуска на столе, черствели заедки, но он и слюны не сглатывал.

Выходили на него баловники-шалопуты — Журчала с Бурчалой, вопили с перепугу в голос:

— Барин, беда! Ноги под столом перепутали: где чьи — не понять!..

И слезы ручьем лили.

Но шут и на это не улыбался, даже губой не кривил.

Шут вспоминал прежние свои успехи, бычий пузырь под мышкой — прук да тпрук, шумный гогот царя-батюшки, рыхлое дрожание подбородков у царицы-матушки.

Перехохатывал Капсирку с Матросилкой, пересмеивал Лгалу с Подлыгалой, и даже скрюченно перекрученный карла Страхулет, от природы потешный, с горя уходил под стол и бояр щипал за припухлости в штанах, а они лягались в ответ.

Бывали времена — один он доедал из царских тарелок, вылизывал до доньшка по особой милости и языком цыкал, чтобы покорчились злобные завистники от обид-огорчений.

Повел баловников в дом, открыл сундучок, развернул тряпицу — телячьи пузыри в сохранности.

— Сам сделал, — сказал гордо. — Сам и трещал. Успех был — вам и не снилось.

А они — с небрежением:

— Это, барин, старье. Это все теперь могут.

— Я придумал, — сказал с обидой. — От меня и пошло.

А они:

— Пошло и ушло.

Надулся на целый день.

Обиделся кровно.

— Послать бы вас за бугор, — подпугивал ненароком, а баловники кричали в ответ:

--- Всем добродетелям верх, барин, кротость и незлобие!

— Не знаю, не знаю, — отвечал. — Это еще надо доказать.
И опять не улыбался — хмур и неутешен.

8.

Ночью он проснулся на печи, под низким давящим потолком, в спертой избяной духоте и воздух похватал частыми, непослушными вдохами.

На сердце улеглась грузная неподъемная тяжесть, — или это Кокорюкова Пелагея навалила на него без стеснения могучие свои прелести?

Сбросил с себя пухлую руку, отпихнул, неохватную ногу, но тяжесть не ушла — осталась, и жилка дрожала внутри, истончившаяся, волосяная, готовая навсегда оборваться, душу сжимая тоской.

Вышел на улицу, под распахнутое, прозрачное небо, на влажный холодок с травяным настоем и постоял, передыхая.

Деревня спала, умаявшись за день, затырканная неугомонным Кирюшкой.

Даже собаки затихли — не гавкали, чтобы не послушаться суровой команды: днем — работать, ночью — всем спать!

Храпел один только Кирюшка, избу сотрясая, ноги из двери торчали на полулицы, внутри не помещаясь, а снаружи, возле крыльца, свернулась в клубок змея Авдотья и ногу ногой чесала по-собачьи.

Блоха с половика заела.

Это была его деревня, собственная, выслуженная за долгое пердячье кувырканье, и сладостная оттого своим наличием.

Можно бы и утешиться на старости, но почему-то не утешалось.

В стороне, у изгороди, сидел на пеньке малоумный старик Бывалыч и звезды оглядывал.

Велики. Ярки. Переливчаты.

Хоть сейчас на царский венец.

Сел рядом, на свободный пенек, тоже задрал голову.

— Сидишь?

— Сижу, — ответил Бывалыч.

— А чего сидишь?

— Знаки караюлю с неба.

— Знаки?

— Знаки. Когда начнется.

— А чего начнется?

- Этого я не знаю.

Был он тих. Покоен. Мягко облик. В себя углублен. Глаза — те же звезды в ночи.

И на малоумного не похож.

— А ты когда спишь? — спросил.

— А никогда, — ответил Бывалыч. — Знак чтобы не пропустить. Холодно стало.

Поежился.

— Думаешь, скоро?

- Скоро, — сказал. -- К тому идет.

И замолчал.

— Ну?

А тот:

-- В ребятишках, --- сказал, - потолки были — не достать. Крыша — не залезть. Небо — не охватить. В молодости, — сказал, -- потолки над макушкой. Крыша — на цыпочках. Небо — докинуть можно. К старости, — сказал, — пол с потолком сдвигаются. Крыша с подполом. Небо с землей. Что потолок, что крыша с небом — одна над головой доска. Но жить пока можно. Я живу.

Подумал. Повторил про себя сказанное. Подивился.

Откуда малоумному этакая заумность?

- Это я днем малоумен, -- пояснил Бывалыч. — А ночью все спят и сравнивать не с кем.

Встал. Потоптался возле.

— Знак будет... скажешь?

И тот пообещал твердо:

— Знак будет — скажу.

С шумом шебуршнулся в избе силач Кирюшка, пригрозил невнятно:

-- А за бугор?..

И захрапел победно.

--- Барин, -- позвала Авдотька с половика.

— Чего тебе?

— Возьми меня на печь, барин. Вместо Кокорюковой Пелагеи. Кормить буду. Ублажать. Грудь на тебя класть и советы советовать. Чем не ладно?

Удивился.

Оглядел со вниманием.

— Подь сюда.

Она и пошла. Ладная. Крепкая. Рукастая. На ходу устойчивая.

– А Кирюшка, – спросил. – Его куда?

– А Кирюшку мы с тобой отравим, барин, – сказала просто. – Чтобы жив не был.

Поглядел ей в глаза. Поискал усмешку. Злорадство. Злость с ненавистью.

Одна деловитость.

– Отравим, – повторила. – Зельем опоим. Или шнурком удавим. Не надо ему жить, барин. Зря его разбудили: он теперь всех подомнет. За бугром места не хватит.

– И меня подомнет?

-- Тебя, барин, в свой срок.

И пошла назад, на половик.

– Надвигается... – подумал с содроганием, а вслед сказал: – Удавить – это не долго. Вот я скажу Кирюшке, тогда что?

– А я отопрусь, барин.

И снова свернулась по-собачьи.

Светало.

Холодало по-утреннему: дрожь по спине.

Сидел на пеньке у изгороди малоумный старик Бывалыч, дурак с рассветом, чесал-спутанную бороду.

– Может, обойдется, – утешил. – Пронесет мимо. Нас и татары в свой срок не нашли. Лесами прошли мимо. В болотах заплутали.

-- Татары не нашли, – уныло согласился Горох Капустин сын Редькин по кличке Воняло. -- А свои точно уж найдут.

Ему ли не знать?

И сокрушенный пошел в избу.

К Кокорюковой Пелагее...

9.

Под утро к нему прискакали баловники.

Вдвоем на одном козле.

Озабоченные и торопливые.

- Решай, барин! Чтобы сейчас!!

И зачастили:

-- Забавничий.

-- Потешничий.

· Затейничий.

– Шалопутничий-краснобайничий.

– Головотяпничий-пустомельничий.

-- Куролесничий-дуракаваляльничий или чепушинничий-ахинеичий.

И помолчали, чтобы переварил услышанное.

- Это чего? — спросил без интереса.

— Это, — объяснили, — должности. При тебе. Как называть и кого поставить.

- А так нельзя?

— Так, барин, уже нельзя. Не способствует. К умалению склоняет. К твоему умалению и к умалению нашему.

Поглядел на них: то ли смеются, то ли всерьез.

· Всерьез, барин. Это всерьез. Я бы, к примеру, — сказал один, — желал быть потешничим. Я бы, к примеру, — сказал другой, — мечтал стать пустомельничим.

И обскакали вокруг на козле.

--- Нету таких слов, -- попробовал отбиться. — И раньше не было.

— Не было, — согласились. — А назвали — и есть. Решай, барин. Нам невтерпеж.

И уже на отходе:

— А Кирюшка, барин, лес сводит...

И пустили козла в галоп.

Гакали топоры по округе.

Деревья со скрипом клонились.

Ахала земля под тяжестью, передыхала и снова ахала.

А Кирюшка весело похаживал по округе — головой над всеми -- и тычки раздавал.

— От кого прятаться? -- говорил. — От кого нам деревню скрывать? Чужих нету давно, а к своим мы всегда нараспашку. Так говорю, мужики?

— Так, -- отвечали мужики с опаской, топорами махая. — Так, батюшка Киприан. Тебе, сокол, с высоты виднее. Вон ты у нас какой — дуб дубом. С тычка и за бугор!

Проглядывали прогалы на все стороны.

Лес поредел заметно.

Открывалась Талица на бугре: подходи и грабь.

— Перестать сейчас же!

Затихло.

Топоры повисли в руках.

А горлан Кирюшка встал перед ним, свысока поглядел на макушку и сказал деловито:

– Как это перестать, барин, когда начато? Мы этот лес на тес пустим, на горбыль, на бревна для высоких теремов.

– Мне не нужны терема, – сказал Воняло.

– Мне нужны, – сказал Кирюшка. – Чтобы головы не гнуть. И топоры загакали заново.

– Отрави его, барин, – шептала Авдотька, – Я тебе зелья наварю...

– Решай, барин, – торопили баловники. – Потешничий или пустомельничий. А то нас Кирюшка переманивает. К своему ко двору. У него и кормов больше, и баловства требует меньше.

Горох Капустин сын Редькин этого не стерпел.

– Эй! – сказал грозно. – Вот я царю на тебя донесу. За самоуправное самовольство. Он тебя в вине сварит, батогами забьет, клещи с иглами испробует, когти-мясодралы!

И Кирюшка струхнул:

– Ну и ладно... – и ростом вроде опал. – Ну и пожалуйста. Твое тебе, а мое – мне... – И заревел ревом: – Авдотька, пошла в кувырки!

И Авдотька закувыркалась в пыли, подол задирая и хозяина теша.

– Барин, удави его... – шептала беззвучно. – Удави его, бааарин!..

А Кирюшка гоготал, наслаждаясь.

И лес валился без остановки, открывая подходы.

Теперь уж найдут – не заплутают...

10.

К полуночи поскреблись в окно, как мышь скребется под половицей: пуганно, но настойчиво.

Перелез через Кокорюкову Пелагею, сполз с печи и дверь приоткрыл: луны нету, и лица не разобрать.

– Барин, – спросили без звука, – доносы принимаешь?

- А на кого? – удивился.

- А на кого хошь. У нас накоплено.

-- Не знаю... -- засомневался. – А что с ними делать?

- Эх, ты, голубок, – вздохнули. – Не доспел еще.

И утопали с сожалением.

Вернулся на печь, перелез обратно через Кокорюкову Пелагею, но в дверь опять поскреблись.

По голосу — Авдотька.

— Барин, что нам с Пискулей делать?

— А что?

— Ненадежен, барин. Глядит косо. Молчит и желвак катает.

— Что предлагаешь?

— Тычка, барин, и за бугор.

— Не рано ли? — спросил без уверенности.

— Это, барин, никогда не рано.

— Я подумаю, Авдотька. Иди пока.

— Думай давай. — И напоследок: — Шепчутся, барин, по дерев-

не. Велишь уловлять?

— А кто шепчется?

— Кособрохые. Рукоуси с задрипанцами. Кто ни есть.

Поглядел на нее.

Глаза выделил на лице.

Светлые и без дна.

— Ты, Авдотька, с кем? С кем и на кого?

Ответила ясно:

— Чей верх, барин, с тем и я.

И пошла...

До утра не спал. Ворочался. Припоминал прежние страхи при царе-батюшке. Мнимое злоумыслие. Наушников с переносчиками. Изветы, поклепы, пыточные камеры.

Скреблись в дверь, но он не открывал.

Кокорюкова Пелагея клала на него разные части тела, но он скидывал.

Озабочен был и испуган.

Знал по царскому опыту: только начни лютовать — других загубишь и себя не убережешь.

Уж не заготовить ли заранее, за бугром, могилку на высоком месте, и не написать ли самому, пока не поздно: "Здесь лежит человек, которого жизнь попользовала без особой надобности"?..

Наутро слез с печи — голова трещит, жилка дрожит, сердце екает, пованивает уже ощутимо от недержания, и у крыльца натоптано ночными посетителями.

Увидел Кирюшку и на визг сорвался, от самого себя обмирая:

— Это что у тебя?!.. Шепчутся! Глядят косо! Желваки катают! Смотри, Кирюшка, с тебя спрос!!..

— Да я, барин, ночей не сплю...

-- Не спишь ты... – И приказал: – Вырыть ему могилу. Во весь рост. Чтобы на случай была.

-- Сделаем, кормилец! – радостно заорали мужики и побежали гурьбой за лопатами.

А Кирюшка понесся по деревне, как иголкой ткнутый, уловлять и пресекать в зародыше.

Кто на пути встанет, того за бугор!

А за бугром – кладбище.

А на кладбище – нарытые могилки.

Которые помоложе – в деревню возвращались из-за бугра, с оханьем и через силу, которые послабее – с тычка и в могилку.

В которую свалишься, и та твоя.

Один только Бывалыч, малоумный, упрямый старик, тычкам не поддавался и из-за бугра на карачках лез.

Ему некогда.

У него дела не переделаны.

Ползком – и назад. Назад – и за свое.

Таскал воду из колодца и обратно выливал, чтобы не застоялась. Собирал дым в мешки из печных труб и назад в печки пускал, чтобы не пропадало. Гонял мух из деревни и за околицу, чтобы в помине не было. А при луне на пеньке сидел и знаки выглядывал.

Назавтра многое прояснилось – в намерениях и возможностях.

Барин лютует.

Пора барина ублажать, пока за бугор не послал.

И к ночи пошли гурьбой: не успевал через Кокорюкову перелезть.

Кто скорее нашепчет, тот и жив.

Страх побежал впереди каждого. Страх скалился за спиной. Со страхом просыпались и по нужде ходили. И дорожка была пробита к барской двери ночными шептунами, и лавочка приткнута у крыльца, чтобы не томиться в очереди.

Беспортошный Мина нашептал на Грабленого Романа, что под коп под барина ладил, – а ведь вместе когда-то на сосне сидели и на Москву дружно глядели.

Подкопа не нашли – уж больно ловко запрятал, но Грабленого Романа отправили за бугор.

Чтобы там был.

Сердитый Харлам ошептал Нехорошку Киселя, что деревья валил при рубке в опасную для барина сторону, – а ведь вместе под мостом лежали и заезжих ожидали.

Нехорошку отправили за бугор без разбирательства и без возврата, а за ним и Харлама — за нерезвое доносительство.

Вареный шепнул про Чиненого, что плохо следил за Пискулей и не пресекал в зародыше: оттого тот и на злоумышление подвинулся.

Чиненого не стало, а Пискули давно уж не было.

А змея Авдотья, баба-переносщица, сообщила про Кокорюкову Пелагею, что та на печи, впотьмах, грудью старалась задавить ба-тюшку-барина и много в том преуспела.

Что ни ночь — жуткие раскрывались подробности, к продолжению насильств клонящие.

Что ни день — хирела деревня с доносов, уменьшалась количественно: пахать некому и кормов не достать.

Барину еще хватало — так-сяк, а остальным — с перебоями.

И Авдотья — змея-доноситель — уже лежала на печи взамен Кокорюковой Пелагеи и в ухо нашептывала без передыха.

— Кирюшка! — кричала капризно в окошко. — Пошел вприсядку!

И Кирюшка пускался в пляс посреди лужи.

Только промедли — и тебя за бугор.

А малоумный старик Бывалыч ходил промеж всех и дураком прикидывался изо всей силы.

— Видал? — спрашивал его шут, обмирая. — Знаки на небе?..

Но Бывалыч молчал.

Глаз отводил.

Тайны не раскрывал.

Зачем огорчаться до времени?

Узнаешь, барин, в свой срок...

11.

Горох Капустин сын Редькин сидел на лавочке возле крыльца и капризничал в голос.

— Авдотья! Авдотья чертова, говори сразу: в огонь за мной кинешься?

— Смотря какой огонь, — отвечала с печи лениво. — Еще обожжешься... Лучше водой залить.

— Авдотья! — взывал со всхлипом. — Авдотья поганая, говори тут же: в омут за мной бросишься?

— Чего это — в омут, — отвечала рассудительно. — Потону, — какая тебе корысть?

— Авдотья, Авдотья!! — взывал со стоном. — Выть по мне станешь, Авдотья?

— Это уж как придется, — отвечала равнодушно. — Ежели весело, так чего выть? В пляс лучше пойду.

— Вот ты какая, Авдотья! — выговаривал с обидой. — Конечно, конечно. Кокорюкова Пелагея тебе не в пример. Кокорюкова за мною — хоть куда. Зря я ее за бугор отправил.

— Отправил — и ладно, — говорила примирительно. — Иди, барин, сюда. Я у тебя в голове поищу.

И он тосковал.

— Иди, кому говорят? — звала с умыслом. — Будем барахтаться. Но ему было лень.

Вела к крыльцу дорожка, протоптанная ночными доносителями, но по ней мало уже кто приходил.

Бабы затаились по избам.

Редкие мужики прошмыгивали в огороды: по нужде — и назад.

Деревня в дурь ударилась по команде.

Двое на сосне висели и никуда уже не глядели. Двое под мостом лежали и погребения ожидали. А горлан Кирюшка лениво вскидывал ноги посреди лужи и на солнце поглядывал, скоро ль шабашить.

Пора было Кирюшку кончать.

— Эй! — позвал криком. — Вы где?

Прискакали баловники на прутиках. Топнули ногою. Осадили горячих коней.

— Вот они мы, барин!

А глаза грустные.

— Тьфу, — сказал с омерзением. — И эти зауныли. Как вас теперь называть? Тоскуля и Визгуля?

— А звать нас теперь — никак, — ответили. — Некому и не для кого. Погляди на деревню, барин: голым голо и мертвым мертво.

— Сам знаю, — сказал со злостью. — В другой раз умышлять не будут. Пошли вон, дураки!

А они стоят.

Они переминаются — с некоторым даже стеснением:

— Нам бы в столицу, барин, себя показать...

— А я с кем останусь?

— Кирюшку тебе. Вон, в луже пляшет. Чем не баловник?.. А мы, барин, не наелись. Нам всякого попробовать надо.

— А толку-то, — сказал с отвращением. — Прук да тпрук — вот и вся столица.

Этого они не поняли.

— Отпусти, барин, будь к нам хорош. Мы зато такое придумали -- заслушаешься!

И заорали друг на друга:

— Мерзостная мерзость!

-- Пакостная пакость!

- Дикостная дикость!

— Да дрянская дрянь!

— Да глупская глупь!

— Да тупская тупь!

— Да пупская пупь!..

И хором:

— Ну как, барин?

— Повторяетесь, -- сказал. — На пустом месте роете. Ни смысла, ни выдумки.

— Тебя не удивишь, — огорчились. — Ты мастер. Не на таких придумано. Отпусти в столицу, — ладно тебе...

Шум послышался из-за леса.

Топот лошадиный со ржанием.

Звоны железа о железо.

В просеках-порубках наскакивало на Талицу конное войско: лошади вороные — всадники черные.

И сердце у Вонялы подскочило к горлу и там уперлось.

Передний подскакал к самому крыльцу, пены лошадиной раскидал ошметки и захохотал гулко:

— Эхе-хе! Да ты воон где?!

За ним наскакали остальные и рты поразевали от восторга.

Глотки широкие. Зубы гнилые. Языки толстые.

И Кирюшка из лужи жадно приглядывался к кромешникам: у этих — сила.

— Царское повеление! — выкаркнул Схорони Концы и конем в грудь пихнул. — На порох — и взорвать!

Вмиг привязали к крыльцу, обложили Вонялу тугими мешочками и россыпь пороха протянули по земле: от крыльца и за угол.

И сами попрятались поспешно.

Выфуркнул от угла шустрый огонек...

Заскакал потешно...

Шут с жизнью прощался и телом опадал...

Помолиться — и то не успеть...

Пшик — и погасло под ногой.

Сунулись из-за угла рожи пакостные, заухали радостно:

— Отсырело, дядя! В другой уже раз! Как просохнет!..

И поскакали из деревни.

А Схорони Концы крутнулся на коне и проорал на отскоке:

— Готовься! Пива вари! Гусей жарь, да побольше! Батюшка-царь с обозом жалует! Через два перехода — и у тебя!!..

И нет их.

Сидел. Тосковал. Задышался и обванивал окрестности. Сердце бултыхалось внутри, как в порожнем мешке.

Беду опять пронесло мимо.

Как ухо ядро огладило.

Но где-то двигался, не торопясь, царский обоз, а в нем пыточной снасти — на всякую лютость.

Не спрятаться в леса, не пересидеть в глуши: походя заиграют жизнь -- и дальше покатыт.

— Уходи, барин, — посоветовала Авдотька. — Тебе тут не жить.

— Пошли со мной, Авдотька, -- попросил жалобно. — Будешь на печи лежать. Буду через тебя перелезть. Чем не ладно?

— Не, барин, — сказала просто. — Верх не твой, и я не с тобой.

Тосковал день целый — решался, а ночью пошел к баловникам, разбудил, велел по секрету:

Готовьте возок. Только тихо.

— В столицу поедем? — обрадовались.

- В столицу, -- сказал. — Только в другую.

Но этого они не расслышали.

12.

Возок катил поспешно.

В черноте леса.

В слепоте ночи.

По бугракам и на бугор. С бугра и снова в провал.

Куда лошадь вывезет, и там хорошо.

Баловники веселились на облучке: "В столицу! В столицу!", подпрыгивали и языками цокали, а Воняло трясся в глубинах возка: нагонят — не скостят.

Ты, дурень, шутил, пошутим и мы с тобой.

К рассвету они забеспокоились, разглядев:

-- Барин, это мы не туда...

Успокоил:

— А мы объездом.

К полудню они всполошились, распознав:

— Барин, это мы на Литву!..

Утишил:

— А хоть бы и туда.

Сидели смиренно, зудили нудно, как ни к кому:

— Мы в Литву не хотим... Ни-ни... Что нам Литва? Там люди — выворотни. Говорят — не поймешь...

А он лошадь нахлестывал.

— Земля наша, — нудили, — землее ихней... Луна наша лунее ихней... И сосна соснее. И трава травее. И вода водее. А уж о хлебушке и говорить нечего! Хлебее, сытее, пышнее...

А он:

— Птица поет — наша, а перелетела — враг злобесный? Рыба играет — наша, а переплыла — изменник богомерзкий? Заяц с лисою — прегнусодейные? Волк с лосем — злолукавые? Пришел — наш, ушел — снова не наш?..

А они — разговор глухих:

— Здесь все -- наше... Здесь и слеза -- наша. И беда наша. И моль кровавый от грыжной натуги. Здесь и могила — наша, кто бы туда ни ткнул...

А он:

-- Огонь не разбирает наших с вашими. Вода заливает наших с ненашими. Мор поражает. Голод с засухой. Половодье с недородом...

А они:

— Мы с языком играем, слова переиначиваем, — кто там поймет?.. Тут скажешь: то ли посмеются, то ли голову снимут. Там скажешь -- как не говорил...

— Вы молодые. — ответил на это. — Вам легче...

А возок катил в свою сторону, седоков сотрясая.

И солнце убиралось на покой...

К ночи встали, распрягли лошадей, разложили костерок: грустные думы над скудной едой.

Поели.

Легли.

Огоньки в костре вытухли.

А не спят...

— Барин, — спросили, — тебе не боязно?

— Не, — сказал. — Мне страшно.

— И нам страшно...

Лежали.

Слушали шепоты леса.

Глядели в темноту, глаза раздирая.

— Барин, нас теперь убивать будут?

· Будут, — сказал. — Если поймают.

— А за что, барин?

-- Правление его, — ответил прямо, — гнусно и нестерпимо. Жестокость его, — ответил честно, — прилипчива и заразна. Тебя гнетут, и ты гнетешь. Тебя унижают, и ты унижаешь.

— А почему так?

Подумал:

-- От страха от единого. Не ты, так тебя.

Помолчали.

Дружно подрожали в ознобе.

— Я темноты боюсь... — признался Воняло. — Всю свою жизнь...

— Спи со светом.

— А днем-то... — сказал. — Днем — самая темнота.

И забормотал, тайну раскрывая:

— Чтобы леса были — непроходимые. А в лесах заросли — непролазные. А в зарослях стены — непробойные. А за стенами башни — неподступные. А в башнях подкопы в подполе — на тот край земли...

— И что? — спросили.

— И то, — ответил. — За леса уйду. Зарослями укроюсь. Стенами огорожусь. Башнями задвинусь. Подкопами сбегу в другую непролазность... Тогда еще ничего. Жить можно.

Поворочались.

Повздыхали:

— А нас возьмешь?

Ответил:

-- Спите, ребята. Охотник добежит до источника...

И заснули.

Сны сладкие. Видения легкие. Улыбки светлые.

Как медом по губам мазнули...

13.

Прочухались на рассвете, а над ними стоят.

Кирюшка с мужиками.

Авдотька на телеге.

Да лошадь в пене.

— Гоном гнали, — похвасталась Авдотька. — Летом летели.

Кобылу запалили да мужиков — без счета.

А Кирюшка добавил с похвальбой:

— У меня скоро. Как дам — семеро издохнут!

— Семерых и взять негде, — с земли сказал шут, подванивая неудержимо. — Нас трое всего.

-- А на троих, — решил Кирюшка, — и замаха жалко.

И погнал пешими назад.

Из буерака ползком на бугор. С бугра кувырком — и в овраг.

Кирюшка развалился в барском возке, ноги выложив на оглобли, а мужики шагали рядом и чесали богатырские пятки.

— Батюшка, — советовали, — ты бы разулся. Чесать способнее.

А он — капризно и нараспев:

— А вы покруче, покруче. Чтобы через сапог пробирало.

Авдотька трусила сбоку, глядела на шута без жалости:

— Говорили тебе: удави Кирюшку. Теперь он тебя удавит.

А Воняло отвечал со смирением:

— Старый дурак, Авдотька, глупее молодого...

К Талице его подвозили на телеге.

Воняло лежал на животе, отвернув вбок голову, и готовился умирать.

Ноги висели по одну сторону, руки по другую, голова колотилась о борт, и сердце уже не трепыхалось на тонкой жилочке, а камнем лежало не на месте, отдельно.

— Барин, ты жив? — спрашивали баловники, поспешая.

А он отвечал без звука:

— Что лошаденка? И пар вон...

Возле околицы они встали, столбenea.

По Талице шла суетня: мужики с бабами.

Кто с ведром, кто с лопатой, кто с топором.

Раствор замешивали в колодце, чтобы побольше было. Печь клали споро — длиной на полулицы. Лес сводили на дрова: ту печь топить.

— Это чего? — грозно спросил Кирюшка и кулаки навесил.

А они — с общим поклоном:

— Это тебе, батюшка Киприан. От благодарных поселян да за непомерные заслуги. Чтобы лежать тебе на теплых кирпичках во весь исполинский рост, ни в чем стеснения не иметь.

А возле печи уже суетилась Авдотька и пришепetyвала то-ропливо:

И мне сложите. И мне! Лежаночку. Какую ни есть приступочку. Возле друга моего Кирюши.

Мужики клали раствор и степенно советовали:

— Батюшка, пореши Авдотьку. Будет уж ей блошиться.

Но Кирюшка причесывался пятерней, охорашивался, отвечал томно:

— Так уж и пореши. Она под барином была. Мне лестно.

Скинули Вонялу на землю и пошагали квас пить.

С кислинкой. Из барского погреба. На ржаной корочке.

— Убили бы, — подумал без боязни. — Вот радость...

И распластался давленной лягушкой.

— Чего это — убили, — сказала Авдотька на отходе. — Мы тебя, изменника, царю выдадим. Мы тебя, умышленника, на лютые муки. А нам за это — подарочек.

И поскакала за всеми квас разливать.

Без нее — никак...

Возле самого его глаза надрывались суматошные мураши, волокли с натугой живую еще муху.

Живая — она слаще.

Травинка лезла в ноздрю.

Пожухлый листик колот щеку.

Сидели рядом баловники, повязанные накрепко, да малоумный старик Бывалыч.

— Разъясни... — шепнул с земли. — Почему и за что?

— Куда мне, -- прикинулся тот. — На свету я дурак. Стемнеет — и поговорим.

Потеря щекой о траву, сказал слабо:

-- До темноты мне не быть...

Бывалыч вздохнул, огляделся по сторонам — никого не было.

- Ты на мужиков не держи, — сказал. — Одичали. Выдурились.

С пазов сошли. По лютости времен хоть за кого теперь и хоть на кого... Будут времена потише, и они помягчают.

— А будут? — спросил Воняло.

Помолчал.

- Это пока неизвестно. Знака нету.

А баловники вскрикнули хором:

— Барин! Обоз идет! Откель? Оттель? Откуль? Оттуль! Откедова? Оттедова!!..

И задрожали дружно...

14.

Втекал с просеки обоз — без конца длинен.

Лошади тянули дружно, сытые и ухоженные. Возчики прикипели к облучкам. Гарцевали вокруг свирепые кромешники с метлами у пояса, щурились неласково на окрестности, губы задирали по-собачьи и клыки открывали.

Казну везли — сотни возов — в лубяных коробах.

Сундуки с одеждой.

Бочки с провиантом.

Посуду для царского стола.

Перины с одеялами.

Всякое разное, в пути пригодное.

Возов было без счета, не на один час, а мужики стояли по деревне без шапок и кланялись в пояс.

Потом закричали кромешники — сатанинское войско, защелкали плетями, потеснили конями: все на колени бухнулись и лбы в землю уткнули.

Выкатывалась крытая колымага, дом на колесах: лошади шестерней.

Выплясывал на жеребце Схорони Концы, главный охранитель, глаз с колымаги не сводил.

Внутри, на подушках, невидный со стороны, возлегал в одиночестве неистовый владыка — мрачен и свиреп, проборматывал порой вслух и дико вскрикивал, как доругивался с врагом-переметчиком:

- ...отступившему и поправшему, разорившему и осквернившему... Или мнишь, окаянный, что убережешься?.. Так нет уж, нет уж!!

Волосы вылезли на голове.

Волосы вылезли из бороды.

Даже усы, ресницы с бровями — не по годам дряхл.

Гнил заживо и повсюду, надувалось на боку килой гнойной, взбухало по телу волдырями, лопалось, натекало понизу: тухлив и вонлив — многосмрадный гнилуша.

Был он безумен — от страха смерти, был он пуглив — от засад с отравами, броню поддевал под платье во всякое время, а под броней — вечная у него почесушка, зуд-свербеж и мокрота натечная с волдырей.

С этого стервенел неистовый правитель, рычал, визжал, искалывал ножом подушки и колымажный полог и снова чесался яростно:

— ...которые простирают свои виды на обладание престолом... Дерзая славы и бестрепетно хуля... Но не будет этого, не будет!!

Следом за колымагой — вповалку на телегах, в перехлест рук с ногами, повязанные накрепко — тряслись на колдобинах чародеи с ворожеями, доки со смывалами, бабы-ведуньи и бабы-шептуньи.

Суетливые и корыстные — переругивались визгливо, шипели, плевались, щипались по возможности, старые припоминали обиды и прежние свои ведмения.

Порчу смывали на стоянках наговорной водицей, отшептывали волдыри, наговаривали на мокроту с почесушкой, ворожили на свербеж и нутро щупали.

Но снова надувалось гноем, липучевонючим подтекало по спине и в штаны, и в ярости жег ведунов на костре, ворожей со смывалами сек саблями.

— ...для устрашения злодеев и ободрения добродетельных... И хорошо всем, и полезно... Когда же нет этого, то не царь он, не царь!!

Новых свозили отовсюду и на телеги наваливали, чтобы гадали ему на ухозвон, врониград, куроклик, мышеписк, стенотреск, кошкомаяк, а также по трепету тела, но вспухали волдыри к волдырям, мясо проедали до кости, боль невозможная с зудом и раздражением, и резал ножом чародеев с шептунами — в мучительской лютои, рты забивал порохом, уши с носами, и головы подрывал на осколочки.

С серебра умывали, с креста водой поили, вешали мешочки на шею со змеиной шкуркой и лягушачьей косточкой, но текло уже с пальцев, текло из ушей, глаза залипали и язык пух, и катился перед обозом ужас вместе с отрубленными головами, да народ разбежался по чащобам: пустые селения на пути.

— ...если и есть небольшой грех... — чесался и вскрикивал, вскрикивал и снова чесался: — Из-за вашего же соблазна и измены... То и я человек, и я!!

И земли в ярости пустишил.

— Батюшка, — позвали снаружи. — Деревня цельная. Весь народ тут. Косолапые мужики, скверные человеки. Не пожелаешь ли сказнить, — авось полегчает?

И царь сказал:

— Пожелаю.

Встала колымага.

Отпахнули полог.

Выглянул на свет — ликом зелен, взором безумен: бабы завалились без чувств, да мужиков — парочка.

Залипшими глазками поморгал на солнце, а потом отрывисто, как словом плевался:

— Все -- убегали — а вы — чего?

И взглядом прожег без жалости.

— От меня-то? -- сказал Кирюшка с колен. — Побеги только — ноги поотрываю.

И кулак показал — с кувалду.

Долго смотрел на него — велик, могуч, зверообразен, потом спросил с интересом:

— Поотрывает?

И мужики загудели согласно:

— Киприан-то? Непременно и насовсем.

Подобралась на коленях Авдотька, пропела с поклоном:

— Прими, батюшка, подношение — от Киприановой жены. Прохладиться с дороги.

И ковш протянула с квасом.

Тут же наскочил Схорони Концы -- главный пресекаТЕЛЬ отрав и умыслений, плетью вышиб ковш, копытами вознесся над головой, а Кирюшка залепил жеребцу в лоб — и навзничь.

Дергался конь в предсмертной судороге.

Барахтался в пыли главный охранитель, из стремян выпутываясь.

Ухмылялся батюшка-царь на нежданное развлечение.

Даже про свербеж позабыл.

— Экий ты, — сказал. — Страшила невозможный. Пойдешь ко мне? Уловлять и пресекать.

— Да хоть теперь! — заревел Кирюшка. -- Мать родную не пожелаю!

— А жену? Жену пожалеешь?

— Я-то?!.. Ее-то?!.. — и в замах пошел.

А Авдотька — пока не уложили рядом с жеребцом:

– Батюшка-царь, не бери его. Он без меня дурак!..
– Дурак? – спросил царь.
– Не так чтобы очень, – степенно согласился Кирюшка и замах попридержал.

А она – пока шанс:

– Давай, батюшка, я его убью. На кой он тебе? Я буду уловлять, я и пресекать. На что хошь сгожусь.

И грудью тряхнула со смыслом.

Заинтересовался. Губу облизал. Глаз положил с пониманием.

-- Беру. Обоих. У стремени и при постели.

И Схорони Концы забурел от предчувствий.

Кому радость, а ему – карачун...

И тут царь увидел шута:

– Этот – чего?

И Авдотька доложила с колен:

– Холопишко твой. Горох Вонялов сын Редькин. За рубеж утек. Пойман. Приведен. Будет наказан.

– Пусть взойдет, -- приказал. – Поговорить надо.

И полог задернул.

15

В колымаге был полумрак.

Сухость и жар.

Духота с вонью.

– Жив ли? Здоров ли?

Воняло протиснулся за полог и примостился в ногах.

- Жив, батюшка-царь. Здоров понемногу.

– Ну и ладно. Живцам жить, мертвецов поминать.

Держал на коленях разукрашенный ларец, пригоршнями вынимал оттуда камни-самоцветы, перебирал, пересыпал в горсти, а они переливались цветным ручейком, взблескивали неяркими гранями: искорки лиловые, звездочки изумрудные.

– Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд... – подборматывал под нос, как время тянул сладостно. – Лал, лалик, лалец... Адамант – ангельская слеза, а привозят его из арапской земли... Жемчуг – зерно гурмышское, хрусолиф, гранат, достокан... Это кто воняет – ты или я?

- Я, батюшка. С прошлых еще времен.

– Врешь, шут, врешь... Это мы воняем, мы все — не один ты. Мерзкие человеки, ехидины отродья...

Зажалился тоненько, грустно, головой затряс:

– Грыжу имею... Врагуша трясет... Ногобление, главотяжество, многомокrotие... Ждал я, кто бы поскорбел со мною, — и нет никого. Утешающих я не сыскал, и даже ты, Воняло, — ах-ах! — за рубеж потек...

Голосом подрожал:

– Я тебя любил?

-- Любил.

-- На постелю брал?

-- Брал.

– А ты чего ж?..

– Батюшка, — сказал. — Сказни меня и утешься.

А тот ответа не дал.

Перебирал камни, лицом зарывался, нюхал, покусывал, языком полизывал, а в глазах отблескивало пыточными угольками:

– Сливочки-переливочки, лей-перелей... В красных одеждах — кровь проливать... В черных одеждах — страх нагонять... В белых одеждах — гулять-хохотать...

И глаз скосил:

– Небесная доброта переменна... Без правды изгнан и скитаюсь по странам... Иду поселиться, где Бог укажет... А ведь высшим повелением воцарились и взяли нам принадлежащее!.. От предков наших, смиренных скипетродержателей!.. — И взвизгнул, деря кожу ногтями: — А чужого не возжелали, ни-ни!!..

Ощерился.

Ногой пнул без жалости.

Воняло поскулил от боли и затих. И царь поскулил тоже.

– Кто я?.. Последняя нищета, грешный, непотребный холопишко... В колтунах и наготе... Но придет, придет день светлости и разгонит все темности!..

Криком зашелся:

– Это кто сказал? Отвечай теперь же!!

-- Ты, батюшка-царь.

– Экий ты дурак, Воняло... Сивилла Ливийская. Девушка. В ризе белой и в честной седине. Радостна и смеялась всегда...

Поманил к себе:

– Подь сюда. Ближе. Еще. Тайну открою, тайну... Тебе одному!

Шут сунулся к нему головой, и тот забормотал горячо, воню обдавая и за ухо дергая:

— Колокол на Москве упал — к беде!.. Брюхатые предатели... Корыстные мужичины... Криводушные ласкатели... Потому и места меняю, шатом шатаюсь... Шатом! Шатом! Шатом!..

— Ай! — дернулся шут, и кровь пролилась за ворот.

— Ты чего?.. — шептал тот. — Чего ты?!.. На, на, возьми... Не отниму! Твое — тебе!.. Скажешь — царь наградил за службу... Обещал еще милостей... А если делаешь зло — бойся!..

Подхихикивал, дергаясь.

Уха совал лоскуток.

Подушки искалывал в иступлении.

— А с женами моими зачем меня разлучили?.. Детскими страшилами пугали... Поесть не давали вовремя... Желали свести со света сосущего молоко младенца... И не надейтесь, что и теперь вам удастся, не надейтесь!!

Передохнул.

Всхлипнул.

Почесался со стоном.

А потом зачерпнул камней пригоршню, сказал обстоятельно:

— Гранат — а по-русски виниса-камень, сердце человека веселит и кручину отдаляет... Сапфиры — охраняют, лал — кровь очищает, адамант — камень крепок — от ярости удерживает и сластолюбия... Сколько раз пробовал — не помогает. А ну, не стони! Не стони ты, убогий человеке...

— Батюшка, — воззвал со всхлипом. — Что я теперь без уха? Раб клейменный...

— Дурак ты, — посуровел царь. — В старость вошел, а ума не имеешь. Счастье одному, Воняло, это горе другому. Кто бьет, Воняло, тот лучше, а кого бьют да вяжут, тот хуже. Чтобы не стать наковальной, Воняло, стань молотом. Повтори теперь, как запомнил.

— Ох, батюшка, — сказал шут. — Поздно уж мне в молоты: пробовал — не выходит. Да и в наковальни стар.

— Ах-ах! — поддразнил. — Чистенький какой! Был при государе в великом приближении, и в том приближении будучи... Враг, враг! — завопил. — Перевертень! К Литве утекать?!.. Зажарить, собаку! Целиком и на вертеле!.. Но сколько мог зла сделать — сделал!

Передернулся от зуда, волдыри покарябал, слезу пустил скорбную:

– Не мною начато, Воняло. Как тому взойти, что гнило сеяно? Вот и лютуем без меры...

Захлопнул ларец, спросил деловито:

– На Англию как проехать?

Изумился:

– Не знаю, батюшка... На Англию — это через воды.

– Подь сюда, — зашептал. — Подь... Ближе. Еще ближе...

-- Боюсь, батюшка.

– Да не трону уха, не трону... -- И заспешил в горячке: — Шведский король под защиту просится... От страхов своих... Пустить ли? Дать ли убежище?.. Шведский бежит в Россию, русский — в Англию, английская королева — в земли гишпанские, гишпанцы — в Индию, те — к африканцам, африканцы — к самоеди... Всякий от страхов своих... Нету, Воняло, нету царям покоя на земле!

Оттолкнул с раздражением:

– Да не в Англию я теперь, не в Англию... С Новгородом еще не посчитались... С великой ярости гнев наложу и опалу! Вот, видал? Все тут записаны: кого в Волхов метать, кого кольями протыкать... Они еще жрут-жируют, с бабами на печи играют, а у меня все тут, на листочке: многая лета! — а многих и нету...

Долго смеялся, причмокивал, руками встряхивал, пузырился слюной сверх меры, потом спросил озабоченно:

– Помру, — что делать станете?.. Говори!

-- Живи, батюшка, долго. Живи и нас радуй.

Заупрямился:

– Нет, я помру, помру... Вкушу смерти... Назло всем! Вы без меня наворотите тут всякого, крамолы с самоуправством, а я вдруг воскресну и гонение великое воскурю... Ох, воскурю!

И поглядел с сумасшедшинкой:

– Не веришь, небось?

-- Верю, батюшка.

– А веришь — слушай дальше.

И заговорил напевно и с грустью:

-- Есть остров на море, остров Вечного Веселия — отовсюду далек. Через бурные воды, пороги с пучинами — в вечную его теплоту, доброухание с землеплодием. Правит там принц Адольф Лападийский, и жители его — многосмышлены, разумительны, в слове и деле неколебимы. Крепки, румяны, добролики и густобороды:

не наша пьянь-вонь. Всякий день на острове тепл и тих — к работе располагает, всякий вечер — смех, плясание, детское лопотание. Нужен дождь — их дождем сбрызнет. Нужен ветерок — их обдует. Едят, пьют, веселятся, счастье с радостью глотают, а кончились припасы -- разулся, встал босыми ногами на землю, пустил корни, опушился листьями, зацвел и обвис плодами -- всем на прокорм. Когда сливы, когда финики, когда яблоко с орехом. Собрал урожай сам с себя — живи дальше, радуйся... Всем счастье на острове -- и никому горе.

— А там болеют? — спросил Воняло, заслушавшись.

-- Болеют. Животами маются от смеха.

— А там помирают?

— Помирают, Воняло. Единственно — от пресыщения радостью.

— А туда пускают?

Ощерился злобно:

— Пускают... Шиш тебе! Всех пускать — остров поганить... Приеду — заборов понаставлю и охрану заведу. Наползут тараканами — мигом загадят...

Похихикал сладостно, руки потер:

-- Пузырь при тебе?

— При мне, батюшка.

— Попердеть можешь? Молодость вспомнить.

— Да он, батюшка, пересох. Скрип один, и только.

— Понял теперь? Время, брат, не воротишь... Иди давай. Навонял — не вздохнуть...

И полог отдернул.

16.

Темнело по округе.

Тени вечерние удлинялись.

Звезды показывались поверху и луны огрызок.

— А этот где? — спросил царь с интересом. — Главный мой охранитель?

Возле колымаги столбенел на кобыле великан Кирюшка и ногами до земли доставал.

— Какой еще — этот? — сказал с важностью. — Нету никакого этого.

И лошадь промял.

Рядом стояла пешая Авдотька и секиру держала наизготовку.

— Мы его, батюшка, — пояснила, — руками порвали и в колодец кинули. Схоронили концы, чтобы крамола не завелась.

— Ну да?!

— А чего мешкать? Пожил свое — и будет.

— Авдотька, — сказал с одобрением, — ты меня удивляешь. Ты меня утешаешь и потешаешь, Авдотька.

— То ли еще будет, батюшка. Чего дальше прикажешь?

— Едем, — велел. — В ночи сбережемся.

Это ей не понравилось.

— Не, батюшка, — и секирой пристукнула. — Не дело — уезжать без острастки. Чтобы навек забоялись.

— Думаешь?

— Думаю, — сказал Кирюшка. — Этого — Вонялу. Этих — баловников. Порвать — и в колодец.

— Я не согласная, — возразила Авдотька. — Отдай мне Вонялу, батюшка. В шуты-развлекатели.

— Лучше убить, — сказал Воняло.

— Лучше в шуты, — сказал царь и животом забурчал.

— Ах! — завопили баловники. — Это мы мигом, царь-государь! Это мы враз!

Подскочили, стали обмахивать платками, дуть на него и возле.

— Чего это они? — спросил с подозрением, и Авдотька секиру выставила.

— Как чего?! — кричали наперебой. — Сам, небось, приказал! Бурчанием чрева своего! Охладить на жаре!..

Поглядел на них страшно, кулаки сжал — и опять забурчал.

— О! — сказали. — Все слышали? Подтвердил батюшка!

И дальше дуть-махать.

Молодые, ловкие, увертливые и смешливые — царь осмотрел заинтересованно, облизнулся, пальчиком поманил — они без раздумий вскочили на запятки.

Способные, современные, с идеями — ко двору в дураки.

— Кого же тогда сказнить? — сказал царь и мужиков оглядел.

У плетня, на привычном месте, сидел на пеньке малоумный старик Бывалыч и звезды осматривал.

Царь — не царь, а у него забота: знак не упустить.

— Этот — чего?

— Этого, — сказала Авдотька, — можно. Этому — пора. Засиделся в жизни.

И Кирюшка кобылу тронул.

— Не надо, — попросил Воняло. — Его не трогайте, Он знаки караулит с неба.

— Знаки?

-- Знаки. Когда начнется.

Царь дрогнул, поглядел внимательно:

— Чего начнется?

— Этого он не знает.

Волдыри почесал в раздумии. Губу покривил в ухмылке. Глазом заиграл. Оживился, как водой спрыснутый.

— Снизу-то, — сказал со значением, — знаков не увидеть... Ему — наверху быть, поближе к небу. Да посветите ему, чтобы не упустил -- разглядел в точности...

— Поняла, батюшка, -- отчеканила Авдотья. — Это мы сделаем. Повыше и посветлее.

17.

Горела Талица на бугре.

Избы полыхали в ряд, чистым, смолистым пламенем, свет расплескивая в ночи.

Баньки догорали первыми, сараи с амбарами, курятники и коюшны, а избы держались долго.

Избы-свечечки...

Уходил обоз по просеке.

Укатывала колымага — счастливые баловники на запятках: охотник добежит до источника.

Кирюха -- главный теперь охранитель — ехал неспешно возле и гусаком погогатывал: гуляй, детина, твоя година!

В барском возке катила Авдотья с секирой, а на облучке притулился личный ее шут, Горох Капустин сын Редькин, и пузырем попискивал, хозяйку убажывая.

Тряса в колымаге неистовый людодер — коленками на дне, поклоны клал без счета головой о ларец -- кровавые натеки на лбу, шептал-умолял в исступлении:

— Но не так это, Господи, не так!.. Все было не так, как они лгут!.. Не слушай их, Господи, пред Тобой стоящих, не взвешивай на весах Твоих!.. Кто они такие, чтобы так неистово хулить меня?!.. Я приду, Господи, скоро уже... Я не задержусь... Я объясню: про каждого и про всех... А пока не внимай им, Господи, не внимай!!.. Этаких собак везде казнят, сам знаешь!..

Облака летели над землей, подсвеченные пламенем.

Край неба розовел, будто и там догорала Талица.

На высокой сосне да на толстом суку — поближе к звездам — висел малоумный старик Бывалыч, головой навзничь, как знаки на небе выглядывал.

На радость знаки и знаки на горе.

Но было пока — не разглядеть...

Иерусалим,
март-июнь 1988 г.

Ф. Кандель — писатель и киносценарист, автор ряда романов и повестей, а также книги очерков по истории еврейского народа (см. рецензию М. Хейфеца в этом номере журнала); живет в Иерусалиме, работает в русской редакции "Кол Израэль".

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

МАРК ТВЕРСКОЙ. ТРЕП ОТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

(эпиграммы, иронические стихи, пародии) Художник Г. Виноцкий

120 стр.

Цена 10 долл.

В небольшой по объему книге М. Тверской сумел заключить целую серию искрящихся юмором иронических примечаний на полях нашей общей жизни и создать обширную галерею точных пародийных портретов израильских, эмигрантских и советских поэтов. Творчество М. Тверского — пародиста и сатирика — не случайно отмечено похвальными отзывами взыскательных читателей и символической наградой — "Премией Гарика" в Соединенных Штатах.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва-Иерусалим", п/я 44050, Тель-Авив 61440.

НОВЫЙ-НОВЫЙ РЕПАТРИАНТ

Ирина Бабич

“ТРАНЗИТ ТЕЛЬ-АВИВ”

— Ты откуда? И как давно? Один месяц и десять дней? О, мазаль тов! Скажи, тебе нравится Эрец?

И так — всюду: в крошечном кафе и в нарядной “ирие” (по старому, в горисполкоме), в аптеке, у газетного киоска и просто на углу, где ждешь, когда засветится не требующий перевода зеленый свет. Стоит обратиться с вопросом — на хорошем русском, ломаном английском и еще никаком иврите (два-три слова, выученные в холле гостиницы “Кармелия” благодаря ангельскому терпению красавца-портье) — “как пройти?..” или “где находится?” — как тут же улыбка, и подробный ответ, и град вопросов: ты откуда? и как давно? скажи, тебе нравится Эрец?

Да, нравится! Очень. Так сказать, “меод-меод”! Нравятся улыбки. И непременно “Мазаль тов!” и “Коль а кавод!” И обязательное желание помочь: “Рак русит? Рэга! Хана!” И Хана, или Ори, или еще кто-то, кто хоть чуточку знает русский, уже спешит на помощь, не преминув спросить: ты откуда? и как давно? Скажи, тебе нравится Эрец?

Еще как нравится! Нравятся дети — очень красивые, улыбочивые, никогда не швыряющие камнями в собак. И старики — в спортивных курточках независимо от пола и возраста, трогательно самостоятельные, охотно вступающие в разговор. И ловкие, как фокусники, продавцы фалафеля — за прилавками с белыми, красными, зелеными соусами, придающими праздничный вид самой захудалой улочке. И так называемые “чиновники” — например, работники Сохнута или “мисрад-кптиты”, никуда не спешащие, готовые спокойно все объяснить, начиная свою речь с непрямого слова “Смотрите...”

Я смотрю. Смотрю во все глаза — я ждала этой встречи со Страной 9 лет. Девять долгих лет “отказа” (говорят, слово “рефьюзник” звучит одинаково на всех языках)... Но первая моя встреча со Страной произошла не здесь — на этой земле. Не в аэропорту

Лод, где приземлился ночью наш самолет — коснулся грунта и запрыгал, как кузнечик, под аплодисменты всего салона. Нет, первая моя встреча с государством Израиль произошла... в Бухаресте. Да-да, именно там, на перевалочном пункте, засыпанном мокрым снегом. Но сначала надо рассказать о расставании со Страной исхода, занимающей, как известно, одну шестую земного шара, о последних часах, проведенных в аэропорту Шереметьево.

Он очень красив, этот новый, построенный иностранцами и для иностранцев же предназначенный аэропорт "Шереметьево-2" (точнее, для иностранцев и тех советских граждан, кто улетает за рубеж и прилетает из-за рубежа). Мы приехали туда прямо со скорого поезда "Киев—Москва". Мы хотели побыстрее пройти досмотр, оставить чемоданы таможенникам и рвануть к друзьям — разумеется, мы все оптимисты, и идет перестройка, гласность и демократизация, и вот-вот будут установлены дипломатические отношения, и мы еще будем вместе... это же не навсегда... сейчас другое время... Но разлука — всегда разлука, и вот так, чтобы все разом — локоть к локтю — усесться за стол и говорить, и чокаяться, и спорить, перебивая друг друга — это, братцы, вряд ли, мы не молодеем... ну, не будем об этом... давайте еще по одной! И каждая минута — на счету, и каждая улыбка — чтобы скрыть слезы — навеки... Да что же он горит так долго, этот красный свет, скорее бы Шереметьево!

Но "красный свет", оказалось, был включен надолго и всерьез: таможенный досмотр следовало проходить почему-то только ночью, значит, прибыть в Шереметьево в 21.00, не позже, значит, такой долгожданный, такой необходимый, такой невосполнимый вечер с друзьями, так сказать, накрылся с головой... И чемоданы сдать в камеры хранения тоже нельзя — очередь не движется, она протянулась чуть ли не до входных дверей, потому что мест в камере хранения нет, мала она, не рассчитали — или не рассчитывали... Очередь на такси съедает еще час драгоценного — последнего — московского времени. И потом кричишь в телефонную трубку — всем тем, кто должен был прийти вечером: "Слушай, бросай все... ну, так получается... осталось часа два, ведь не увидимся... ну, отпросись, соври там что-нибудь... ведь навсегда... ну, ладно, не навсегда, но очень надолго..."

Итак, ночь в Шереметьево-2. Сначала — небольшая очередь на досмотр (подробности опускаю). Потом бессмысленное стояние под стенками огромных залов — стульев, кресел, лавочек не хва-

тает. Где-то полночь бросаю на пол меховой жакет и усаживаюсь “по-турецки” — на меня с завистью смотрит старик в тяжелом пальто, он на такой “финт” решиться не может... Рядом у пирамиды ящиков, окованных по углам железом (казенный груз), на расстеленной на полу газете — кажется, “Вечерняя Москва” — спят, притулившись друг к другу, двое солидных мужиков. Ну, ладно, мы — отъезжанцы, отщепенцы, люди без гражданства... Но ведь это же советские служащие при исполнении — о них почему никто не позаботится... В 4 утра пьем ледяную “Фанту” — горячий кофе (не очень горячий и не очень кофе) уже кончился. В 7.30 идем на личный досмотр — ноги отекли, сапоги жмут. С ужасом смотрю на мою бедную маму — как она все это выдержит... В 10.00 — слава Богу, по расписанию — самолет набирает высоту, от бессонницы и усталости я уже не плачу, слез нет, просто закрываю глаза, перед которыми все плывут и плывут лица провожающих, и тележки с чемоданами, закрывающие дорогие эти лица. Все — теперь мы “никто, ничто и звать никак”, люди без паспортов и гражданства, беззащитные, ничьи, брошенные в пустое пространство... А впереди — Бухарест, о котором рассказывают всякие ужасы (холодно, темно, полный балаган), самолет на Тель-Авив только вечером... Неужели и там негде будет присесть? А как объясниться — мой английский не выдерживает критики, о румынском я не знаю даже понаслышке... Почему-то вспоминается строчка из детской песенки: “Птица-чибис волнуется — чьи вы?” Ничьи, пташка, ничьи...

Посадка в Бухаресте... Ужасное, ни с чем не сравнимое чувство “болтания в никуда” усугубляется с первых минут: толкотня, суета, незнакомая, сбивающая с толку речь... Мокрый снег валит хлопьями, самооткрывающиеся двери впускают в темноватые залы не столько людей, сколько потоки ледяного воздуха. Непонятно — куда идти, что делать, где вещи, есть ли зал ожидания. И вдруг — над всей этой неразберихой — звонкий женский голос: “Транзит Тель-Авив, транзит Тель-Авив”. Будто кто-то протянул тебе руку! Женщина в светлой дубленке не говорит по-русски, но это пустяки, ничего, главное — нас встречают, значит, мы не “беспаспортные бродяги”, значит, мы кому-то нужны...

“Транзит Тель-Авив, транзит Тель-Авив”... Оказывается, нас не так и мало — 7 семей, Ленинград, Новосибирск, Свердловск, Кишинев, Киев... Еще несколько минут — и мы, как бы отделенные от шумящей бесполовости аэропорта все той же надежной ру-

кой, гордо проходим к маленькому автобусу под завистливые взгляды "гостевиков" — мы не в гости, мы насовсем! Мокрые серые хлопья летят из-под колес, дорога длиннее, чем мы ожидали, потому что нас везут не в гостиницу типа "общезитие" в аэропорту, а в роскошный — "пять звездочек" — отель в центре города. Мягкая мебель в теплом (Господи, какое же это счастье — согреться!) холле, минутное заполнение каких-то бумажек — нас разводят по номерам с белой мебелью и таким, простите, санузлом, что хочется в нем "навсегда поселиться". Нам с мужем — номер, маме — отдельный номер, семье из четырех человек — два номера...

— Ресторан! — произносит, как заклинание, женщина в дубленке и стучит пальцем по часикам. — Ресторан!

Молодой доктор из Ленинграда объясняет — это, конечно же, за доллары (нам поменяли по 90 рублей на брата), лучше обойтись бутербродами, у кого есть... Но женщина, уловив международное слово "доллары" энергично трясет головой — нет, нет! — и вдруг выпаливает "Эрец-Исраэль"!

— За что все это нам? — шепчет женщина из Кишинева, и глаза ее подозрительно блестят за стеклами очков. — Мы ведь еще ничего доброго им не сделали...

Кому — "им"? Это уже все "мы" — граждане Страны, которая не допустит, чтобы мы, ее граждане, улеглись на расстеленных газетах на полу!

...Теперь, когда так трудно не спутать "ма-шмэх" с "ма-шломэх", когда никак не понять — почему на свою стипендию я могу купить тонну мандаринок, но не могу пойти с внуком в зоопарк, когда в квартире, где нет отопления, приходится с непривычки спать в шерстяной кофте и толстых носках, и письма "оттуда" все еще не приходят, и неизвестно, как будет с работой, я не унываю. Я ничего не боюсь — в моих ушах звенит, не умолкая, голос МОЕЙ СТРАНЫ: "Транзит Тель-Авив, транзит Тель-Авив"!

Ирина Бабич — журналистка, много лет возглавляла корпункт "Известий" в Киеве; в Израиль репатриировалась в конце 1988 г., живет в Хайфе.

Алексей Магарик

* * *

Знал, где взять миллион Остап Бендер.
Но нынче не те времена. Пежо-тендер
Колесит по стране Сиона с бывшим узником за рулем:
Возит вещи репатриантов, не за длинным, видать, рублем.
То стол, то стул, то сохнутувская над рекой кровать,
Шкаф родной, навек любимый, а еще думали: брать — не брать.
Все надо брать, и то, и это, и то, и се.
Без этого всего амидаровская квартира, и та — ни то, ни се.
Просела до земли машина, похожая на сена стог,
И понеслась. Далеко позади родина, вокруг — Ближний Восток.
О Эксодус! О Иерусалим! Минареты твои подо мной кресты.
Ах Бейт мой Лехем! Какой Бродский не любит быстрой езды!
Чуден Хеврон при ясной погоде, чуден-юден город Кирыят-Арба.
Редкий камень долетит до середины кабины, редкий, граждане,
Алла акбар.
Плывет тендер, корабль пустыни, плывут репатрианты,
и шкаф их, и стол, и стул, и кровать.
“Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: интифада, ети ея мать!”

Зима 1988—89 г.

Иерусалим

А. Магарик — в прошлом активист еврейского движения в СССР и узник Сиона; репатрировался в 1988 г., живет в Иерусалиме.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЭТТИНГЕРОВСКИЕ ПРЕМИИ 1988 ГОДА

18 февраля 1988 года в Иерусалиме состоялась очередная церемония вручения премий Фонда им. Р. Н. Эттингер для деятелей культуры — репатриантов из СССР в Израиле. Жюри в составе профессоров Еврейского университета под председательством основателя и президента Фонда проф. Э. Любошица присудило премии: А. Воронелю — за публицистику, Ю. Ароновичу — за концертно-исполнительскую деятельность и И. Якерсону — за серию картин и графических работ.

Присуждение премий им. Р. Н. Эттингер с годами стало важным событием культурной жизни “русского Израиля” и всякий раз дает повод для размышлений о судьбах русскоязычной и израильской культуры. Публикуемые ниже выступления лауреатов и участников церемонии посвящены именно этим размышлениям.



Мы мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем

Мне очень льстит получение премии имени Розы Николаевны Эттингер в такой прекрасной компании. Здесь было сказано много замечательных слов обо мне. Многих из них я не заслуживаю. Однако, что я действительно ценю и что мне кажется поистине замечательным — это ощущение общности, которое объединяет нас здесь. Вот об этом я хочу сейчас сказать.

Израильские интеллектуалы часто с любопытством, иногда с удивлением, а порой и раздраженно, спрашивают: “почему русские такие правые (в политике)?”, или: “Отчего среди русских олим так много религиозных?”, или даже: “Почему русские так нетерпимы (в споре)?” Разумеется, эти расхожие стереотипы не вполне отражают действительность. И первый, легкий ответ на последний вопрос может быть очень прост: “Ну, нетерпимы, например, потому что плохо воспитаны”, — однако это неполный ответ и обе стороны это знают. Сами вопросы и это любопытство отражают тот несомненный факт, что мы “русские”, — другие, и наше отличие коренится глубже, чем в политических взглядах или в манере поведения. Мне кажется, наше отличие коренится в нашем другом отношении к миру. Это отношение сформировалось под влиянием совершенно отличного опыта детства. Раннего опыта, в котором содержится весь человек. Или почти весь. Вордсворт в XIX в. утверждал, что “дитя — отец человека”. А Борис Пастернак, в XX-м, говорил, что “детство — это яркий пример парадокса, когда часть больше, чем целое”.

Журнал “Мознаим” в прошлом году опубликовал интересное эссе Йорама Брановского о детстве. Вот, что он пишет о себе:

“Я считаю, что у меня совсем не было детства... Детство — это

А. Воронель (1931, Ленинград) окончил Харьковский университет по отделению физики, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, возглавлял исследовательскую лабораторию под Москвой; в годы “отказа” (1972–74) создал Семинар ученых-отказников и журнал “Евреи в СССР”; в Израиле — профессор Тель-Авивского университета, один из создателей журнала “22”, автор книг “Трепет забот иудейских” и “По ту сторону уха”.

миф и выдумка поэтов. Они сначала открыли любовь, а потом — в тех же поисках оригинальности — детство, все для того, чтобы было им, о чем петь... Но я повторяю: не было ни леса, ни медведей... Родители мои хотели все начать сызнова... И все было с самого начала, ничего от национального или религиозного. Совсем. И так это прошло, с головокружительной скоростью... поездки в деревню, несколько детских болезней... почти ничего... весь я — плод позднего чтения и путешествий, что вовсе не вели меня в страну детства, скорее — в те места, которые составили основу культуры моей — в Грецию и Италию... Мир видится мне временами как шутка или сумасшествие, и почти всегда он видится мне, как почти несуществующий. Я... не верю, что он существует. И я связываю это с несуществованием моего детства...". Боюсь, что это типично для сегодняшнего западного интеллектуала и захватывает многих израильтян. Я рад, что пришел из глубокой провинции и ощущаю себя иначе. Может быть, это поможет мне найти в Израиле родственные души, для которых собственное детство, существование мира и наше существование в нем — еще не пустой звук. Я очень надеюсь встретить здесь тех, чье детство было продолжительным и плодотворным.

Советская власть лишила нас многих культурных достижений человечества. Мы испытали голод, холод и неволю. Многих из нас она лишила также и родителей... Но было бы несправедливо сказать, что она отняла у нас детство. Напротив, она одарила нас детством прочным и продолжительным. В сущности, мы так никогда и не изжили его до конца...

В раннем возрасте я немного заикался. Врачи рекомендовали родителям побуждать меня учить и декламировать стихи. Я декламировал со страстью:

“Климу Ворошилову письмо я написал:

Товарищ Ворошилов, народный комиссар!

В Красную Армию, будущий год,

В Красную Армию брат мой идет!”

Как хорошо был организован наш детский мир! Проникновенные эти стихи, написанные еврейским поэтом Л. Квитко, вдохновенно переведенные на русский язык поэтом-евреем С. Маршаком (и нас еще смеют упрекать в недостатке еврейского воспитания!), рисовали такую гармоническую картину... Были там, конечно, присутствовали и злые силы:

“Слышал я: фашисты задумали войну —

‘Хотят они разграбить Советскую страну...’

Но мы не дадим! Не выйдет! Каких бы это ни стоило жертв, даже жизни брата:

‘Товарищ Ворошилов, когда я подрасту,
Я стану вместо брата с винтовкой на посту!’

Не было у меня никакого брата. Я, как и большинство моих сверстников, был единственным ребенком, родившимся в голодные годы и вскормленным искусственным молоком. Но идея нерушимой верности силам Добра пронизывала мое золотушное существо до самых печенок, и я любил моего несуществующего, самоотверженного старшего брата неземной любовью.

Если бы я знал, что мой старший брат пал, в действительности, жертвой аборта! Если бы я знал, что всего через год товарищ Ворошилов горячо пожмет руку Риббентропу! Если бы я знал, что и самого Квитко всего через десять лет расстреляют ни за что, ни про что... Мы оба, Л. Квитко и я, ничего не знали об этом и были счастливы...

Я не шучу. Я хочу сказать, что у нас было все необходимое для счастливого детства. Потому что для счастливого детства необходима только уверенность в незыблемости нашей системы координат. И она у нас была.

Наши родители тоже “хотели все начать сызнова”. И все у нас тоже было “с самого начала, ничего от национального или религиозного”. Но страна и режим обеспечили нас Абсолютами, и наше детство оказалось долгим и полным смысла. От пяти до десяти, когда началась Война и нас понесло в Сибирь, подальше от смерти; от десяти до пятнадцати, когда я вышел из исправительного лагеря, и меня понесло из Сибири, подальше от тюрьмы, прошли две большие, наполненные событиями жизни, каждая из которых не короче моих последующих сорока взрослых лет, прошедших в разных городах и странах. В сущности, я с трудом могу себе представить, как это я перешел от того бесконечно длинного, осмысленного периода, который обычно называется детством, к тому чересчур поспешному мельканию, в ходе которого так быстро утекает моя взрослая жизнь. И как от чувства уверенности и единственно правильного выбора, которое превалировало у меня в детстве и юности, я все чаще стал переходить к бесконечным колебаниям и чувству вины, которые отравляют нам нашу короткую взрослую жизнь.

Человек — это существо, родившееся с жаждой абсолютного.

Советское воспитание, несмотря на поверхностный атеизм, эту потребность удовлетворяет. Оно внушает ребенку абсолютное сознание своей правоты, и это сознание, как потерянный Рай, навеки предносится нашему мысленному взору, давая силы верить. Опыт гармоничного мировоззрения навсегда остается идеалом, быть может и неосуществимым, по которому, однако, обречена тосковать душа взрослого. Мы, русские выходцы, все надеемся найти и определить в реальном мире "правильную" позицию. Смешно, не правда ли? В нашей алии присутствовала и детская мысль встретить в израильтянине потерянного "старшего брата", который защитит и объяснит. Который "не выдаст..."

Неизбежное с возрастом разочарование в Советской и всякой иной земной власти несколько не могло повредить нашему здоровому идеализму, ибо ребенку с возрастом естественно менять свои представления. В том отчасти и состоит детство...

Нам еще не исполнилось по четырнадцать лет, когда мы осознали, что власть в СССР находится не в руках рабочего класса. Такого отклонения от ленинизма мы потерпеть не могли и должны были бороться. Нас было семеро мальчиков и одна девушка. Хотя в нас и не было "ничего от национального или религиозного", мальчики, все как один, оказались евреями и только девушка... О, русские женщины! Впрочем, случай задуматься об этом нам представился уже только в тюрьме. Семеро — это очень много, но все же ни один не выдал. Нас поймали по результатам нашей деятельности, которая состояла в том, что мы сочиняли и разносили по городу рукописные листовки, клеймившие неравенство и несправедливость и призывавшие народ к восстанию. Восстания не произошло. КГБ стоял на страже. Во всех школах города провели графическую экспертизу, и наши почерки идентифицировали. В тюрьме кончилось наше детство и укрепилось чувство самосохранения. Тов. Ворошилов тогда уже утратил свой ореол, но Л. Квитко еще не был расстрелян. Среди других политических заключенных, которые жаловались, что они сидят ни за что, мы резко выделялись сознательным характером своего "преступления". Никто из нас не захотел признать своей неправоты или хотя бы относительности коммунистического идеала справедливости. Нашему душевному здоровью всерьез повредила бы мысль, с которой многие западные интеллигенты, повидимому, с детства сроднились: "абсолютной правоты, истины, а быть может и мира вообще не существует". Такому

взрослому, безрадостному знанию не позавидуешь. Людям, в которых такое знание прочно поселилось, приходится совершать поистине героические философские усилия, чтобы обосновать понятие верности. Хоть чему-нибудь. Ясно, что они уже не могут стать старшими братьями. Кому бы то ни было...

Конечно, нетрудно понять, что этот поспешный релятивизм есть европейская реакция как раз на идеологическое оболванивание. На тот идеологический тоталитаризм, который так широко разлился по Европе два поколения назад, произведя на свет два сходных, но враждебных друг другу чудовища: германский нацизм и советский коммунизм. Но, ведь и чудовища эти родились на свет не из ничего. Они отвечали той жажде абсолютного, которой не было утоления. Они продлили детство человечества. Потому что человечество, не меньше, чем хлеба, хочет счастливого детства. В чем состоит долг взрослого? — Помочь ребенку принять сложность мира, не разрушив его уверенности в самом себе. Может ли это сделать человек, сам лишенный этой уверенности?

Когда я украл оловянных солдатиков на именинах у сверстника, полагая, что и так он получил достаточно подарков, родители не оставили мой поступок без последствий. В горечи познал я, что в гостях следует вести себя благородно и сдерживать свою жадность, такую естественную при виде множества хороших вещей, собранных вместе... Но вот настал час и моего торжества: на моих именинах другой мальчик начал лихорадочно рассовывать по карманам мои игрушки. Коршуном я налетел на обидчика и впился в него изо всех своих сил, удесятеренных сознанием правоты. Ведь я уже знал, каким должно быть благородное поведение на именинах, и мной руководили, конечно, самые лучшие чувства... Мальчишка заревел так, как будто это он поступал правильно, а я незаслуженно его обидел. Со всех сторон сбежались взрослые, остановить изверга. И я сам вдруг с первобытным физиологическим ужасом почувствовал, что его тело слишком жидкое для моих железных от правоты рук... Все же самое ужасное случилось потом. Мои родители опять приняли сторону противника! Они объявили, что мальчик был у меня в гостях, я был его хозяин, а хозяин, как известно, должен уступать гостям (а также слабым), чтобы доставить им удовольствие (а также достигнуть идеала благородного поведения). Такого предательства я от них не ожидал. Сквозь бурные рыдания прорвался мой мировоззренческий вопрос: "Если на чужих име-

нинах я должен уступить, как гость, а на своих, как хозяин, то где, кто и когда уступит мне?"...

Я помню, что родители смутились. Они не планировали заходить так далеко в основания этики. Скорее всего эти основания не были им вполне ясны. Ясны ли они кому-нибудь из нас? Что-то родители, конечно, говорили насчет того, что, если я сейчас уступлю Васе, то впоследствии, возможно, и Вася уступит мне. Впрочем, они, как и я, зная Васю, заранее понимали, что говорят чепуху. Нет, на самом деле, ответа на этот вопрос. Обоснования этики не могут быть найдены рационально. Взрослый человек живет в джунглях сомнения, в пустыне свободы...

Действительно, взрослость вселяет в душу сомнения. Сознание абсолютной правоты, как и состояние невинности, редко сохраняется до зрелых лет. Но эти сомнения даны нам не для того, чтобы идти в никуда, к бессмыслице, к смерти души. Сомнения даны нам для поиска, чтобы лучше взвесить свой выбор, чтобы расширить круг возможностей. Душа требует упорядоченности и красоты. Живая душа требует смысла. Сомнения прирождены мышлению, но они не составляют его результата. Когда мы приходим к результату, по необходимости несовершенному, возникающие у нас сомнения свидетельствуют вовсе не о бесполезности умственных усилий, а о необходимости их продолжать. Для интеллигенции — это профессиональный и одновременно гражданский долг. Если, вместо созидания, сомнение приводит к разрушению, интеллигент обязан осознавать, что идет не вперед, а назад. Человек отличается от скота своей жадой абсолютного. Поэтому, когда мы разоблачаем относительность очередного абсолюта, мы делаем это не ради относительности, как таковой. Мы делаем это ради другого абсолюта, высшего. Относительность Эйнштейна не разрушила гармоничную картину мира, а создала более совершенную. Своим названием эта теория сбивает с толку только профанов. У самих физиков вполне хватает детского оптимизма, чтобы верить, что они изучают реальный мир — и даже больше — что он "хорош", т. е. гармоничен. Они мыслят, эти физики, и **следовательно существуют**. Даже такой скептик, как Сартр, назвал эту максиму "абсолютной истиной познающего сознания".

Но мы, русские выходцы, сохраняем детскую уверенность в своем существовании и существовании окружающего мира, просто поскольку мы действуем. Действуя, мы начинаем также ве-

рить, что это наше необоснованное существование в мире — ценность. Таким образом, про нас скорее можно было бы сказать, что **мы мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем.** Это гораздо меньше, чем Сартр признал бы за абсолютную истину, ибо логически не равносильно обратному утверждению. Однако, пусть гордится своей утонченностью тот, кому этого недостаточно. Мы происходят не “от позднего чтения и путешествий”, а от наших родителей. Мы похожи на них вопреки раннему и позднему чтению, а также путешествиям в Грецию. В нашем “русском” национализме и религиозности нет “ничего от национального или религиозного”, но зато сколько угодно экзистенциализма. В нашем правом консерватизме содержится ровно 50% левого радикализма. Ибо те же причины, которые на Западе склоняют к левизне, в России отталкивают вправо. И наша нетерпимость всегда включает способность принять самую неожиданную радикальную точку зрения. Просто наша манера и терминология сложилась в другом социальном климате и выбор, который Израиль нам предоставил, не соответствует нашему настроению. Наш экзистенциализм не культурного, западного происхождения, а полудикого, автодидактического, с русской Достоевщиной из XIX в., замешанной на возвышенных мечтах о “хрустальном здании” всеобщего согласия вперемежку с социальным цинизмом, происходящим от жизненного опыта: “Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения... Не все ли равно, если оно существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания?.. Я не успокоюсь на компромиссе... Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду...

Какое мне дело до того, что так невозможно устроить... Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели же я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель?” (“Записки из подполья”, Ф. Достоевский).

Цель, я думаю, действительно не в этом. Я думаю, цель, возможно, в том, что в Израиле открылась вакансия на замещение долж-

ности “старшего брата”. Наше жестокое и трогательное русское прошлое обеспечило нас непотопляемой устойчивостью, которая при настоящих условиях может пригодиться.

Гуляя по чужим именинам и видя, как быстро растаскивают вокруг игрушки, которые могли бы принадлежать нам, да еще и выслушивая время от времени лекции о благородном поведении, мы с неприятным, издавна знакомым чувством ощущаем, как твердеют от правоты руки. Ну, устройте нам наши именины, дайте разок ощутить себя хозяевами, а уж потом требуйте уступок в пользу Васи! Кто знает, может, как хозяину, мне и впрямь захочется уступить...

В любом случае, наш детский эгоизм и острое чувство подлинности существования, возвращают этику на ее реальную почву: наше право жить по своему образу и произволу предшествует гуманизму, национальным движениям и международным договорам. Напротив, наша экзистенциальная цепкость, не зависящая от политических убеждений, воля к абсолютной жизни приводят нас к гуманизму, толкают нас к сочувствию национальным движениям и, быть может, приведут и к международным договорам. Может, мы еще сгодимся израильтянину на роль “старшего брата”?

Р. С. “Романтический бред” — может быть, скажет Иорам Брановский. “Да, пожалуй. А почему бы и нет?” — отвечу я. “Но ведь все это уже не ново... да и кому это нужно?” — скажет он. “А я живу впервые, и это нужно мне”.

Юрий Аронович

Не забывать, кто мы

Присуждение премии в Израиле — событие особое. Из моего личного опыта я знаю, что в большинстве случаев, когда присуждают премию за

Ю. Аронович (1933, Ленинград) окончил Ленинградскую консерваторию, работал в Петрозаводске и Рыбинске, с 1962 г. — главный дирижер симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения; после репатриации в Израиль (1972) — дирижер симфонического оркестра Израильской филармонии и Хайфского симфонического оркестра, Гюрцених-оркестра в Кельне, симфонического оркестра Королевской филармонии в Стокгольме; член Шведской академии наук, кавалер шведского ордена Полярной звезды, лауреат премии Пуччини за оперные интерпретации.

рубежом, жюри почти не знает лауреата, а лауреат — тех, кто ему присуждает награду. На торжественной церемонии говорят на языке, которого ты не понимаешь, а ты отвечаешь на языке, которого не понимают присутствующие. Потом все дружно рвутся за сэндвичами, и этим все заканчивается.

Сегодня и здесь все по-другому. Все меня знают, я вижу в зале очень много друзей и никогда прежде не видел, чтобы между президиумом и залом, между жюри и слушателями не было никакой границы. Это замечательно.

Мне кажется, что из всех лауреатов я в наименьшей степени заслужил эту награду, ибо я относительно мало дирижировал в Израиле. Это произошло по независящим от меня причинам. Виновником этого была бюрократия. Перефразируя Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии этого года, можно сказать, что поскольку бюрократия вмешивается в нашу жизнь (я имею в виду профессиональную жизнь) так сильно и так бесцеремонно, мы тоже имеем право в любой момент сказать, что мы о ней думаем, как сильно она деформирует жизнь артиста, музыканта, художника. Человек искусства не должен бояться противостоять бюрократии, так как, в конце концов, только деятели искусства должны определять пути его развития.

К сожалению, я не очень преуспел в этом противостоянии. Но надеюсь, что с Божьей и вашей помощью я еще добьюсь успеха.

Я думаю, что израильскому артисту чрезвычайно важно также понимать, что он израильтянин и еврей. Это не просто декларация. Уже 15 лет назад, во время моего первого гастрольного турне в Италию, я понял, что если искра антисемитизма вспыхнет опять, то огонь разгорится так же сильно, как прежде. Тогда мне не поверили. Сегодня мы видим, что антисемитизм стал составной частью мировоззрения европейского общества, средств массовой информации и деятелей искусства. Правда, сегодня объектом антисемитизма является не отдельный еврей, а государство Израиль и любые его действия, но существа дела это не меняет.

Реакция израильского артиста на это чрезвычайно важна. Я думаю, что именно мы не должны забывать, кто мы. Мне становится очень больно, когда я вижу моего коллегу-израильтянина, дирижирующего оперой, в партитуре которой написано, что один из персонажей должен быть таким отвратительным, что даже петь должен с еврейским акцентом. Видимо, иногда в нашем стремлении быть интернационалистами мы теряем память и собственное человеческое достоинство. Уже наше поколение является свидетелем того, как переписывается музыкальная история. Из всемирной истории музыки вычеркнуто очень много еврейских страниц, исчезли имена великих еврейских композиторов, оказавших значительное влияние на развитие европейской музыкальной культуры. Часто эти имена — такие, как К. Гольдмарк, Э. Корнгольд, М. Вайнберг и многие другие — не известны даже профессионалам моего поколения.

Мне видится, что наша задача — помочь великим еврейским композиторам занять полагающееся им место в мировой музыкальной культуре. Я бы очень хотел, чтобы каждый музыкант, каждый артист, прежде чем сесть за рояль, взять скрипку, встать за дирижерский пульт, спросил бы себя, кто он и какие цели перед собой ставит. Я далек от национализма и шовинизма,

однако я глубоко убежден, что еврейские композиторы занимают совершенно неповторимое место в мировой музыкальной культуре.

Я вижу здесь, в зале, многих моих друзей, с помощью Бога и судьбы унесших ноги из страны, где все мы жили и о которой так глубоко сказал Александр Воронель. Я вижу здесь замечательного режиссера Юрия Петровича Любимова, который в свое время пригласил меня быть музыкальным руководителем его театра. Я начинал свою деятельность в театре на Таганке, оформляя спектакль "Галилей". Я благодарен Юрию Любимову за то, что он открыл передо мной новый мир. В дальнейшем я часто дирижировал музыкальным сопровождением спектаклей, но этот первый опыт не забуду никогда.

Цифра 5 всегда приносит мне счастье, и в этом году, когда я получил престижную премию им. Р. Н. Эттингер, произошло еще несколько важных для меня событий, связанных с пятеркой: мне исполнилось 55 лет, я 15 лет женат и ровно 50 лет занимаюсь профессиональной деятельностью (потому что первым своим концертом я продирижировал, когда мне было 5 лет). Я благодарю жюри за присуждение мне этой премии. К сожалению, я имел счастье встречаться с Розой Николаевной Эттингер всего несколько раз, но у меня осталось незабываемое впечатление об этом добром, замечательном человеке. Я надеюсь, что если мне удастся осуществить мои творческие планы, это будет лучшей памятью человеку, чьим именем названа премия, лауреатом которой я сегодня стал.

Иосеф Якерсон

"Жив Господь! Начнем..."

Когда ко мне приходит молодой человек и говорит, что он хочет учиться искусству, я — так уж у меня заведено — начинаю в первую минуту его пугать. Я объясняю ему, какой это тяжелый и неблагодарный труд. Я говорю ему, что сейчас никто не учится этому делу, сейчас это не модно вообще.

И. Якерсон родился в 1936 г. в Ленинграде. Рисует с 6 лет, начал выставляться с 11-ти. В 1960 г. окончил Академию Художеств в Ленинграде, будучи ее единственным еврейским студентом. В 1973 г. репатриировался в Израиль. Автор циклов картин "Сонеты Петрарки", "Времена года (ленинградская сюита)", "Страсти Христа" и "Страсти Иуды"; автор оформления к израильским спектаклям Ю. Любимова "Добрый человек из Сезуана" и "Закат". С огромным успехом выставлялся в Цюрихе, Сиднее, Амстердаме, Нью-Йорке, Вашингтоне, Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.

Про себя же я думаю: “Жив Господы! Есть еще таланты и есть еще какие-то безумцы, которые хотят заниматься этим делом...”

Передо мной лично такой вопрос вообще никогда не стоял. Потому что с шести лет, то есть с того момента, когда ребенок начинает просто осознавать себя личностью, я только и делаю, что рисую. Я никогда не думал стать кем-то иным — я знал, что буду художником, и я им стал.

Как возникает такая уверенность в душе — никому не понятно. Мне — меньше всех.

Когда она у меня возникла, я находился в эвакуации в Казани. Во время войны я никакого искусства вообще не видел. После того, как я вернулся в Ленинград, я, конечно, оказался в окружении великой архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии, музыки.

Это может прозвучать парадоксально, но я — профессиональный живописец, “художник с дипломом”, как писал Зощенко, — всю жизнь больше всего любил музыку и скульптуру.

Мне кажется, вполне в соответствии с гегелевской мыслью, что музыка и скульптура ближе к абсолютной идее, чем живопись. Некоторые даже говорят, что живопись — это всего лишь обезьяна, выпущенная на природу и копирующая все, что попадет ей на глаза. Это, конечно, не совсем так. И все же некая субординация существует. Многие из художников это чувствуют и пытаются эту субординацию перепрыгнуть. Тем самым они нарушают мировой порядок.

Не буду утомлять вас ссылками на гностиков и прочей ученой “мурой”. Скажу лишь, что это — не “мура”. Нельзя нарушать порядок, предписанный мировой идеей.

Увы, это происходит сплошь и рядом. И именно это, на мой взгляд, лежит в основе нынешнего кризиса изобразительного искусства. Этот кризис налицо. Нет подлинно профессионального обучения. Нет профессиональной оценки. Нет критериев — потому что сегодня живопись отделилась от ремесла. Она превратилась в занятие для “полубогов”. Поэтому стало очень выгодно быть полубогом, и ежели тебя никто таковым не объявляет, то ты можешь объявить себя им сам. Мы знаем такие примеры, не стоит на них останавливаться.

Итак, живопись отделилась от мастерства, от ремесла, и люди забыли слова Манделштама о том, что “красота — не прихоть полубога, но хищный глазомер” мастера. Ставшие полубогами, художники превратились на самом деле в люмпенов и были исторгнуты обществом. Художник стал не нужен обществу, потому что общество стало не нужно ему. Это очень печальное, тяжелое и страшное положение.

Не знаю, почему так случилось: то ли окружение у меня оказалось подходящим, то ли сам я таков — но я никогда не задавался в молодости теоретическими вопросами. Это уже теперь, когда несколько ослабла моя практическая сила, а точнее — выносливость, я стал задумываться над всем этим. Прежде я всю жизнь только и делал, что писал, рисовал, лепил. И вся моя задача заключалась, как это ни странно и “приземленно” прозвучит, в достижении именно технического совершенства. Искусство дает такие высокие примеры, что художнику всегда есть над чем работать. Он видит перед

собой природу, натуру, он видит, насколько он несовершенен в своих творениях. И все свои силы направляет на то, чтобы двигаться вперед.

Я опять возвращаюсь к своей излюбленной идее: сегодня искусство отделилось от ремесла и не стало критериев. Сегодня художник произносит: "Я так хотел". Но кто знает, хотел он так или не хотел. Зачастую он говорит, что хотел, просто потому, что он так мог. Просто потому, что не мог иначе. А не мог потому, что не умел, не учился. Так возникает заколдованный круг.

Все это очень тяжело и печально.

И поэтому я возвращаюсь к тому, с чего начал. Когда молодой человек говорит мне, что он хочет учиться живописи, я отвечаю ему: "Слушай, подумал ли ты, как следует? Посмотри, как живу я, как живут другие художники... Может быть, ты выберешь для себя что-нибудь другое?" Но в конце концов я ему говорю: "Жив Господь! Начнем!"

Из выступлений на церемонии

Мая Каганская, лауреат премии им. Р. Н. Этингер 1984-го года. Я от всего сердца поздравляю всех трех лауреатов. Но личные чувства я имею только к одному.

Есть традиции, которые не хочется, не стоит продолжать. Я бы сказала, что это относится ко всем традициям, но я знаю, что большинство присутствующих со мной не согласится.

Когда я получала премию в 1984 году, то этот мой праздник каким-то странным образом превратился в обсуждение моего скромного творчества и, по ходу обсуждения, — в осуждение. Эту традицию я продолжать не хочу — поэтому сегодня я буду говорить только комплименты. Но это будут не только комплименты — это будет и правда. А это уже что-то неслыханное.

В 1984 году, получая премию, я произнесла "тронную речь", и помню, что я очень жаловалась. Жалоба моя сводилась к тому, что вот живу я на улице, которая упирается с одной стороны в пустыню неба, а с другой в пустыню жизни, то есть в то место, где жизнь кончается. И вот с той стороны, где есть жизнь, я слышу звуки Шопена, а с той стороны, где жизни нет, я слышу блянье козы.

Теперь я не слышу блянья козы. Но я не слышу и Шопена. Поэтому я не спрашиваю: "Где Шопен?" — я спрашиваю: "Где коза?"

Была еще вторая, тоже очень жалостливая тема 84-го года: "Что мы здесь делаем? Русская литература в Израиле обречена..."

Именно в связи с этими темами 84 года я хочу сказать об Александре Воронеле.

Есть такая традиционная в русско-советской публицистике и кажущаяся метафизически беспорной фраза: "Эта книга (или этот автор) выдержала испытание временем". И очевидно, в России это действительно должно казаться каким-то пределом, поскольку в России очень много пространства, что же касается времени, то с этим в России как раз все время проблемы. Особенно с историческим временем.

У нас, евреев, особенно у израильтян, проблемы прямо противоположные: у нас навалом времени и очень мало пространства.

И вот я хочу сказать, и это, по-моему, самое интересное, что произошло с прозой и мыслями Александра Воронеля: они выдержали испытание пространством. А это — одно из самых тяжелых испытаний в Израиле. Ибо здесь все, что мы любим, все, что было когда-то сделано, все, что звучало когда-то — все по-другому. Слова, перемещенные в другое пространство, означают другой мир, другой контекст.

Если я назову Александра Воронеля просветителем, он на меня, наверно, обидится. Если начну уточнять, что я не то просветительство имею в виду, что, мол, "сейте разумное, доброе, вечное" — всем сразу станет неловко. А если скажу, что просветительство — это, прошу прощения, как-никак традиция Монтеня, Вольтера, Монтескье — он поморщится. Я думаю, что он не любит атеистической традиции, которую я очень люблю. Может быть, он согласится на Спинозу? Но я хочу воззвать к иной великой тени, которая, несомненно, озаряла страницы замечательной книги Воронеля "Трепет забот иудейских" — к тени Осипа Манделштама. В 1919 году он говорил о том, что 20-й век — это век иррациональный: на нас надвигается корень квадратный из двух, иррациональный корень. Мы все живем в его тени.

Здесь, в Израиле, мы все возвращаемся к корням, будь это корни исторические, религиозные или какие-нибудь другие. И так или иначе, мы все это чувствуем. Я хочу сказать, что все корни жизни иррациональны и эта тень иррационального, нависающего над нами, ощущается сегодня все сильнее и сильнее.

Конечно, можно говорить о трагедии русскоязычной литературы внутри другой, израильской, культуры. Но когда рядом с тобой небытие, и молчание, и просто бессловесность, тогда любое слово — драгоценно.

Поэтому я хочу сказать, вслед за Манделштамом, что в такие дни разум энциклопедистов, рациональный разум, подобный светлому и высветляющему разуму Александра Воронеля, — это священный огонь Прометей.

Юрий Колкер (поэт и литературовед, основатель Ленинградского еврейского альманаха). 23 февраля 1983 года в Ленинграде, в котельной, находящейся на слиянии рек Охты и Невы, я записал в моем дневнике: "Прочитал книгу Воронеля. Это великая книга..."

С тех пор прошло пять лет. Много изменилось во мне и вокруг меня. Но вчера я перечитал "Трепет забот иудейских" и убедился, что эта книга вовсе не желает снизить пафос той давней дневниковой записи. Мое отношение к ней осталось прежним. Многие мысли, которыми я живу в настоящее время (разумеется, переиначенные и принявшие другой облик), берут начало в этой книге. Она стала вехой в моей судьбе.

Жанр этого сочинения может быть определен как опыт философской автобиографии в духе Н. Бердяева. О себе А. Воронель пишет с аскетической скромностью, скороговоркой, доставляя читателю больше вопросов, чем ответов. Главное же в ней — превосходно воспитанная, выдержанная, благородная мысль, поставленная на службу свободе и человеческому достоинству и направленная на самые существенные стороны современности. Список затронутых автором тем простирается от газо-

вых камер до принципа дополнительности, от русского прошлого до будущего европейской цивилизации. На ваших глазах возникает стройный, целостный, пронизанный светом смысла, согретый телеологическим теплом мир, в котором хочется поселиться.

Не все мысли, подчеркнутые в книге, были новы для меня. Некоторые переплетались с известными, к пониманию или отрицанию других я приблизился сам. Сущностная новизна вообще является, быть может, раз в тысячелетие. Но у книги А. Воронеля есть иное достоинство: она превосходно написана. Чувство воодушевления, которое А. Воронель сумел внушить мне и, уверен, сотням других читателей, связано с его незаурядным литературным даром, который, по непонятной для меня причине, он на страницах этой книги отрицает. Я же решаюсь думать, что некоторые фрагменты “Трепета забот иудейских” принадлежат к лучшим образцам современной прозы. Такого рода тексты запечатлевают литературный портрет эпохи и живут необычайно долго.

Нелли Гутина (писатель и эссеист). Четыре года назад, когда впервые присуждались премии им. Р. Н. Эттингер, я присутствовала на вручении премии журналу “22”. Это происходило в другом, маленьком зале и людей там было поменьше. Я выступила тогда с небольшой речью и, кажется, испортила всем праздник.

Я находилась тогда в очень пессимистическом настроении, и мне казалось, что наша русскоязычная культура в Израиле не имеет никаких шансов и единственное, что мы можем сделать — это пожалеть и, по мере сил, поддерживать друг друга. Любить друг друга — это все, что нам остается; дела, казалось, обстоят именно так, то есть — очень плохо.

Прошло четыре года, и мое восприятие ситуации решительно изменилось. Я рада сообщить присутствующим, что дела, видимо, обстоят далеко не так плохо, как, судя по всему, должны были бы обстоять. Вопреки всякой логике и всем предвзятым концепциям, русскоязычный анклав в Израиле продолжает жить интенсивной культурной жизнью.

Мы собрались сегодня в большом зале института гуманитарных исследований израильской Академии наук. Я бывала здесь много раз на лекциях и симпозиумах, которые устраивали израильские интеллектуалы. И уверяю вас, никогда в этом зале не собиралось больше людей, чем сегодня.

В том, что наш анклав живет столь насыщенной культурной жизнью, немалая заслуга принадлежит нашему нынешнему лауреату А. Воронелю — равно как и лауреату самой первой премии им. Р. Н. Эттингер, журналу “Двадцать два” и его редактору Рафаилу Нудельману. Я думаю, что без такого явления, как этот журнал, в котором с самого основания сотрудничает и публикует свои лучшие вещи А. Воронель, без этой трибуны, без этого центра нашей культурной жизни, она, эта жизнь, была бы намного менее интенсивна.

И я рада, что эта жизнь, этот взрыв творчества распространяется не только на слово, но и на музыку, и на театр, и на живопись, и на многие другие сферы культуры. Иными словами, это действительно какой-то взрыв творчества во всех видах. Именно поэтому я думаю, что чем дальше, тем будет лучше и что на самом деле перспективы у нас хорошие.

Каждый творческий акт ценен сам по себе. Неважно, на кого он ориентирован и на каком языке он состоялся. И если у создателей культуры есть такая поддерживающая среда, как люди, собравшиеся сейчас в этом зале, то все будет в порядке.

Йоси Тавор (редактор русского отдела радиостанции “Кол Исраэль”). Здесь очень много говорили о каждом из лауреатов. Действительно, каждый из них достоин многого. Здесь несколько раз подчеркивали, что они — из “наших”, что они принадлежат нашей культуре.

Мне же кажется, что самое ценное, что есть в творчестве всех трех сегодняшних лауреатов премии им. Р. Н. Эттингер (и в этом, мне кажется, была и цель ее, и ее сокровенный смысл), состоит в том, что все они стали представителями израильской культуры.

Журнал “22” и один из его ведущих авторов Александр Воронель — я уже говорил это и, мне кажется, все со мной согласны — это израильский журнал и замечательный израильский публицист, творящие на русском языке. Художник Иосиф Якерсон — прекрасный израильский художник. И Юрий Аронович — это замечательный израильский дирижер. В этом — главная ценность творчества каждого лауреата в отдельности и всех их вместе.

С творчеством И. Якерсона мне довелось познакомиться совсем недавно, когда он делал эскизы декораций к бабелевскому “Закату” в постановке Ю. Любимова. Его работы показали мне совершенно превосходными, и я рад, что позже с этим мнением согласилась вся израильская художественная критика.

Здесь очень много было сказано об Александре Воронеле, и я могу к этому только присоединиться.

Но очень многие знают, что мне ближе всего творчество Юрия Ароновича. Я осмеливаюсь называть себя его другом. Поэтому я хочу рассказать о первом случае, когда моя жизнь пересеклась с его судьбой.

Это было очень давно, в начале 70-х годов, в консерваторском зале в городе Горьком. Встал Шура Бендицкий, сын моего преподавателя по камерному ансамблю, и сверкая какими-то совершенно сумасшедшими глазами, сказал: “Ты слышал? Аронович уезжает в Израиль!”. И действительно, тогда это сообщение произвело в музыкальных кругах России впечатление разорвавшейся бомбы. Дирижер такого класса, такого масштаба, имевший, казалось, все возможное в Советском Союзе, уезжал в Израиль! Одним из первых — а первым всегда и все сложнее...

Долгие годы в Израиле спрашивали: когда же мы перестанем платить валютой за визиты Ароновича. Шесть лет назад Юрий Аронович вернулся в страну. Я бы хотел напомнить, как именно он вернулся, Приглашенный Иерусалимским симфоническим оркестром финский дирижер демонстративно отказался приехать в Израиль во время Ливанской войны. Оркестр послал телеграмму Ароновичу. И он, отменив несколько уже назначенных и очень важных для него концертов в Европе, немедленно приехал. Не все, наверно, оценили это по достоинству. Израильские оркестранты не всегда относились с достаточным уважением к стремлению Ароновича дирижировать в стране, к его готовности приезжать сюда по первому приглашению и выступать здесь бесплатно. Может быть, им стоило бы напомнить такой

штрих из биографии Ароновича. После нескольких лет руководства немецким оркестром, ему предложили принять немецкое гражданство. Многие израильские дирижеры с готовностью соглашались принять и немецкое, и шведское, и американское гражданство. Юрий Аронович от такого предложения отказался, хотя оно сулило ему постоянную должность в Западной Германии. Он остался израильским гражданином и израильским дирижером.

Я был другом Ароновича еще до того, как он начал вторично дирижировать в Израиле. И я знаю, как часто он приезжал сюда даже не дирижировать, а просто поработать. Потому что здесь ему хорошо работается, потому что здесь его страна. И я рад, что сегодня эта принадлежность замечательного дирижера современности Юрия Ароновича своей стране и ее культуре отмечена не менее замечательной израильской премией.

Юрий Любимов (создатель и, в прошлом, главный режиссер Театра на Таганке). Это прекрасно, что Юрию Ароновичу здесь хорошо работается. Но хотелось бы, чтобы он почаще здесь и дирижировал. А то работает здесь, а дирижирует — там.

Здесь действительно работается прекрасно. Но, может быть, мы все-таки попросим, чтобы Юрия сделали почетным дирижером Иерусалимского оркестра (сегодня он только его почетный член), чтобы нам не привозить визитеров из Америки, а слушать своего. А то как-то грустно, что так и нет пророков в своем отечестве.

И еще мне хочется сказать о Юрие (мы с ним тоже старые друзья), что даже там, в России, в трудных порой обстоятельствах, он никогда не терял чувства юмора. И это чувство его часто выручало, как выручало и многих из нас, потому что если бы всерьез воспринимать все, что там с нами было, он бы сюда не доехал. Даже такой тип, как Тихон Хренников — и тот это понял, когда сказал о Юрие: “Пусть едет!”

Несколько слов я хотел бы сказать и о Александре Воронеле. Помнится, Александр Сергеевич Пушкин, когда сердился на какого-нибудь автора, говаривал: “Темно, вяло, невнятно...” Так вот, публицистику Воронеля я полюбил за качества прямо противоположные — за ясность, энергичность и внятность смысла. Полюбил и с удовольствием читаю, как полюбил и с удовольствием читаю весь журнал “Двадцать два”.

И еще мне хотелось бы сказать здесь о тебе, мой дорогой Якерсон, дорогой Иосиф. Мне хотелось бы сказать о тебе, как о мастере.

Ты прав: мастерство сегодня — огромная редкость. Мы живем в окружении бесконечных “измов”, надоевших до тошноты. А вот здесь собрались мастера своего дела. Мастерам зачастую приходится трудно: их плохо понимают. Поэтому особенно ценно, когда появляются щедрые меценаты, люди прекрасной души, как, к примеру, Роза Николаевна Эттингер, которые помогают выстоять подлинным мастерам. Будем надеяться, что ее примеру последуют другие, и тогда искусство в нашем прекрасном городе начнет еще больше расцветать, и жители нашей прекрасной страны начнут его еще больше ценить. Потому что, по-моему, Израилю нужны подлинные мастера культуры — такие, как Иосиф Якерсон, как Юрий Аронович, как Александр Воронель.

Клара Пруслина (искусствовед). Я обладаю печальным преимуществом: я не знаю ни Воронеля, ни Ароновича, а Якерсона — только по картинам. Но художник и говорит нам своими картинами. И потому я могу говорить о нем.

Я не согласна, будто в Израиле мало мастеров. Их много. Есть много профессионалов. Но картины Якерсона выделяются даже на их фоне. Очень часто, говоря о живописи, мы понимаем композицию, ритм, цвет и так далее и как-то забываем, что подлинная, большая живопись — это еще и музыка мира. Иосиф Якерсон не просто живописует — он размышляет и рассказывает о мире. Он вслушивается в его музыку и знает, что хочет сказать. Ни один сантиметр его полотен никогда не работает против общего — и неизменно глубокого — замысла и все его детали всегда выразительны и осмысленны.

А это говорит, что перед нами — настоящий художник.



И. Якерсон. Кукла — модель персонажа картины, 40 см



И. Якerson, Кукла — модель персонажа картины, 40 см

7. Большой вопрос

Но если и принять, что обостренный русофобский характер литературы "Малого Народа" объясняется влиянием каких-то еврейских националистических течений, то все же остается вопрос: почему некое течение еврейского национализма может быть проникнуто таким раздражением, чтобы не сказать — ненавистью к России, русской истории и вообще русским? Ответ будет очевидным, если обратить внимание на ту проблему, с которой так или иначе соприкасается почти каждое произведение русофобской литературы: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ РОССИИ ОКАЗАЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПРИЛИВ ЕВРЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ — КАК РАЗ В ЭПОХУ ВЕЛИЧАЙШЕГО КРИЗИСА В ЕЕ ИСТОРИИ? Действительно, вряд ли был в Истории другой случай, когда на жизнь какой-либо страны выходцы из еврейской части ее населения оказали бы такое громадное влияние. Поэтому при любом обсуждении роли евреев в любой стране опыт России очень долго будет одним из основных аргументов. И прежде всего, в нашей стране, где мы еще долго обречены распутывать узелки, затянутые в ту эпоху. С другой стороны, этот вопрос становится все более актуальным во всем мире, особенно в Америке, где как раз теперь "лобби" еврейского национализма достигло такого необъ-

Игорь Шафаревич

РУСОФОБИЯ

(Окончание; начало см. "22", № 63)

яснимого влияния: когда в основных вопросах политики (например, отношения с СССР или нефтедобывающими странами) на решения влияют интересы численно небольшой еврейской группы населения или когда конгрессмены и сенаторы упрекают президента в том, что его действия могут ослабить государство Израиль — и президент вместо того, чтобы напомнить им, что они должны руководствоваться американскими, а не израильскими интересами, извиняется и доказывает, что никакого урона Израиль не понесет.

Эта проблема никогда еще, насколько мне известно, не поднималась русской стороной (здесь, а не в эмиграции). Но другую сторону она явно беспокоит и все время всплывает в литературе "Малого Народа" и в произведениях новейшей эмиграции. Проблема часто хоть и называется — но либо формулируется так, что нелепость, неуместность самого вопроса становится совершенно очевидной, либо тут же закрывается при помощи первого попавшегося аргумента. Например, "революцию делали не одни евреи", утверждает аноним NN, блистательно опровергая взгляд, что "революцию делали одни евреи" (который, впрочем, никаким разумным человеком и не мог быть высказан). Один автор в "Континенте" признает участие евреев в революции на 14% (!?) — "Вот за эти 14% и будем отвечать!" Вот еще пример: пьеса "Утомленное солнце" (вообще замечательная клокоущей ненавистью к русским), напечатанная в издающемся на русском языке в Тель-Авиве журнале. Автор — Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит: "...ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви". "Да чего вы стоите, если вам можно революцию устраивать!" — парирует Веня. Многие авторы отвергают мысль о сильном еврейском влиянии на русскую историю, как оскорбительную для русского народа, хотя это единственный пункт, в котором они готовы проявить к русским такую деликатность. В недавней работе Померанц так и кружил над этим "проклятым вопросом". То он спрашивает, были ли евреи, участвующие в революционном движении, на самом деле евреями? — и признает вопрос неразрешимым: "А кто такой Врангель? (т.е. немец ли?), Троцкий? Это зависит от ваших политических взглядов, читатель". То открывает универсальную закономерность русской жизни, — что в ней всегда ведущую роль играли нерусские: "Даже в романах русских писателей, какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Констанжогло, Инсаров, Штольц. Тут уже заранее было приготовлено место для Левинсона". Ставится даже такой "мысленный эксперимент": если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непре-

менно сходили бы с рельс, а вот "у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию (как раньше у Клейнмихеля)", — хотя должен был бы автор помнить тот первозданный хаос, который царил на железных дорогах, когда ими распоряжался "железный нарком"! И наконец, намекает, что если и было что-то так, ну... не совсем гуманное, то в этом виноваты сами русские, такая у них страна: "Блюмкин, спяну составляющий список на расстрел, немислим в Израиле; нет ни пьянства, ни расстрелов". (За исключением разве расстрелов арабских крестьян, как в деревне Дир-Ясин? — Авт.) Последнее рассуждение сквозит подтекстом и во всей русофобской литературе: если что и было, во всем виноваты сами русские, у них жестокость в крови, такова вся их история. Именно этот лейтмотив и придает такой яркий антирусский оттенок идеологии современного нам "Малого Народа", именно поэтому возникает у его представителей необходимость снова и снова доказывать жестокость и варварство русских.

Впрочем, в такой реакции нет ничего специфически еврейского: в прошлом каждого человека и каждого народа есть эпизоды, о которых вспоминать не хочется, куда легче внушить себе, что вспоминать не о чем. По-человечески удивляться надо скорее тому, что были честные и мужественные попытки разобраться в том, что произошло. Такой попыткой был сборник "Россия и евреи", изданный в Берлине в 1923 г., и другие. Были подобные попытки. Они вселяют надежду, что отношения между народами могли бы определяться не эгоизмом и взаимной ненавистью, а раскаянием и доброжелательностью. Они приводят к важному вопросу: нужно ли нам размышлять о роли евреев в нашей истории, неужели не достаточно у нас своих грехов, ошибок и проблем? Не плодотворнее ли путь раскаяния каждого народа в своих исторических грехах не уйти никуда, как это ни трудно, особенно перед лицом злобных и недобросовестных нападок, подобных тем, которые мы в большом числе приводили. Но совершенно очевидно, что человечество далеко еще не созрело для того, чтобы ограничиваться лишь этим путем. Если перед нами болезненная проблема, от понимания которой зависит, быть может, судьба нашего народа, то чувство национального самосохранения не допускает, чтобы мы от нее отворачивались, запрещали о ней себе думать в надежде, что другие за нас ее разрешат. Тем более, что надежда эта очень хрупкая. Ведь и те попытки анализа взаимоотношений евреев с другими народами, о которых мы говорили, сколько-нибудь широкого отклика не вызвали. Авторы сборника "Россия и евреи" очень ярко описывают враждебное отношение, которое они встретили в эмигрантской европейской среде, о них писали: "отбросы еврейской общественности..." И так же дело обстоит и сейчас: например, А. Суконик, напечатавший в "Контин-

ненте" рассказ, где выведен несимпатичный еврей, немедленно был обвинен в "антисемитизме".

Да всем этим можно было бы еще пренебречь, если бы речь шла о судьбах каждого из нас индивидуально, но ведь ответственны же мы и перед своим народом, так что, как эта проблема ни болезненна, уклониться от нее невозможно.

А обсуждать ее не легко. Жизнь в стране, где сталкиваются столько национальностей и национальные чувства обострены до предела, вырабатывает, часто даже неосознанную, привычку осторожно обходить национальные проблемы, не делать их предметом обсуждения. Чтобы высказаться по этому вопросу, надо преодолеть некоторое внутреннее сопротивление. Однако выбор уже сделан — теми авторами, взгляды и высказывания которых мы привели. Нельзя же в самом деле предположить, чтобы один народ, особенности его истории, национального характера и религиозных взглядов — обсуждался (часто как мы видели, крайне злобно и бесцеремонно), а обсуждение других было бы недопустимо.

Но здесь нам монолитной глыбой перегораживает путь глубоко укорененный, внушенный запрет, делающий почти безнадежной всякую попытку разобраться в этом вопросе. Он заключается в том, что всякая мысль, будто когда-нибудь или где-нибудь действия каких-то евреев принесли вред другим народам, да даже всякое объективное исследование, не исключающее с самого начала возможность такого вывода, — объявляется реакционным, неинтеллигентным, нечистоплотным.

Взаимоотношения между любыми нациями: немцами и французами, англичанами и ирландцами или персами и курдами — можно свободно обсуждать и объективно указывать на случаи, когда одна сторона пострадала от другой. Можно говорить об эгоистической позиции дворянства, о погоне буржуазии за прибылями или о закоре́нелом консерватизме крестьянства. Но по отношению к евреям подобные суждения, независимо от того, оправданы они или нет, — в принципе запрещены. Такой, нигде явно не высказанный и не записанный запрет строго соблюдается всем современным цивилизованным человечеством, и это тем больше бросается в глаза, чем более свободным, "открытым" претендует быть общество, а разительнее всего — в Соединенных Штатах.

Яркий пример обнаженного применения этого положения — в недавней статье Померанца. В одной статье он обнаруживает фразу: "Аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами" — и по этому поводу пишет: "Опасное слово засунуто посредине так, чтобы его и выдернуть нельзя было для цитирования".

Слово "опасное" подчеркнуто мною. Очень хотелось бы понять, как Померанц объясняет, что опасно именно это, "засунутое в середи-

ну", слово, а не то, например, которое стоит в конце, хотя китайцев в мире раз в 50 больше, чем евреев. И никак уж не опасно было ему назвать русских "недоделками" и "холоуями"? Очень характерно, что Померанц отнюдь не оспаривает самого факта, он даже иронизирует над осторожностью автора. Он просто предупреждает, что автор подходит к границе, переступить которую — недопустимо.

И в этом Померанц прав — "слово" действительно опасное! На каждого, осмеливавшегося нарушить вышеуказанный запрет, обрушивается обвинение в "антисемитизме". Янов этим грозит особенно неприкрыто. Упоминая о "националистах", он говорит: "...возразят они мне, что антисемитизм атомная бомба в арсенале их оппонентов. Но если так, то почему бы не лишить своих оппонентов их главного оружия, публично отрекшись..." и т. д.

Это "главное оружие" неуточненных Яновым "противников национализма" действительно является "оружием устрашения", сравнимым с атомной бомбой. Недаром в наше время опасную тему обходят самые принципиальные мыслители, здесь умолкают самые смелые люди.

Что же представляет собой эта "атомная бомба"? Всем известно, что антисемитизм грязен, некультурен, что это позор XX века (как, впрочем, и всех других веков). Его объясняли дикостью, неразвитостью капиталистических отношений — или наоборот, загниванием капитализма, или еще — завистью менее талантливых наций к более талантливой. Энгельс считал его особой разновидностью социализма: "социализмом дураков", Сталин — "пережитками каннибализма", Фрейд объяснял антипатией, вызываемой обрезанными у необрезанных (у которых обрезание подсознательно ассоциируется с неприятной идеей кастрации). Другие считали его пережитком маркионитской ереси, осужденной во 2-м веке Церковью, или хулой на Богоматерь. Но никто никогда не разъяснил то, с чего, казалось бы, надо было начать — что это такое, антисемитизм, что подразумевается под этим словом? По сути-то речь идет о том самом запрете: не допустить даже как предположения, что действия каких-то еврейских групп, течений, личностей могли иметь отрицательные последствия для других. Но так открыто его формулировать, конечно, нельзя. Поэтому и напрасно добиваться ответа, его дано не будет, ибо тут и заключается взрывная мощь той атомной бомбы: в том, что воплос уводится из сферы разума в область эмоций и внушений. Тут мы имеем дело с символом, знаком, функция которого — мобилизовать иррациональные эмоции, вызвать по сигналу прилив раздражения, возмущения и ненависти. Такие символы или штампы, являющиеся сигналом для спонтанной реакции, — хорошо известный элемент управления сознанием.

И применяют обычно штамп "антисемитизм" именно как средство воздействия на эмоции, сознательно игнорируя логику, стремясь увес-

ти от всякого с ней соприкосновения. Яркие примеры можно встретить у автора, вообще весьма озабоченного этой темой: А. Синявского. В уже цитированной нами статье в № 1 журнала "Континент" он пишет: "Здесь уместно сказать несколько слов в защиту антисемитизма в России. То есть: что хорошее скрыто в психологическом смысле в русском недружелюбии (выразимся так — помягче) к евреям?" И разъясняет, что сколько бы бед русский человек ни натворил, он просто не в силах постичь, что все это получилось от его же собственных действий и валит грех на каких-то "Вредителей" — в частности, на евреев. Но дальше, поднимаясь до пафоса, автор по поводу еврейской эмиграции (до которой, конечно, евреев довели русские), восклицает: "Россия — Мать, Россия — Сука, ты ответишь и за это, очередное, вскормленное тобой и выброшенное на помойку (?) дитя".

Видите, автор даже берет русских под защиту, старается, сколько возможно, извинить их антисемитизм, найти в нем что-то и "хорошее", ибо ведь они не ведают, что творят, а в более современной терминологии — невменяемы (хотя Россия — Сука все же ответит и за это, и за что-то еще...). И уже от такого защитника читатель принимает на веру, без единого доказательства, утверждение о том, что "недружелюбие" русских к евреям как нации действительно существует, и не задумывается, всегда ли евреи "дружелюбны" к русским?

В каком другом вопросе такой трюк сошел бы с рук? А тут эти мысли признаются столь важными, что в английском переводе сообщаются американскому читателю.

В более поздней статье того же автора приводится несколько высказываний "писателя Н. П." вроде того, что еврейские погромы были и при Мономахе, или что сейчас в московской организации Союза писателей евреев — 80%. Не пытайтесь ни оценить правильность этой цифры, ни то, какое влияние подобное положение вещей могло бы оказать на развитие русской литературы, автор утверждает, что Н. П. призывает "приступить к погромам, опоясавшись Мономахом", и даже, что "мы имеем дело(...) с православным фашизмом". Видно, что цель — увести читателя с неудобной для автора почвы фактов и размышлений. Вместо этого внушается образ русских — почти невменяемых недоумков, а любые неприятные высказывания перекрашивают под призывы к погрому.

В русофобской литературе мы встречали такие уверенные обвинения русских в отсутствии уважения к чужому мнению, авторы так часто прокламировали "плюрализм" и "толерантность", что мы, казалось бы, могли рассчитывать встретить эти черты у них самих. Однако, когда они сталкиваются с болезненными для них вопросами, то не только не проявляют терпимости и уважения к чужому мнению, но без обиняков объявляют своих оппонентов фашистами и чуть ли не убийцами. А

ведь как раз в трудных, болезненных ситуациях только и проверяются и "плюрализм", и "толерантность". Если пытаться на этой модели понять, что же подразумевают авторы под свободой мысли и слова, то ведь может показаться, что они понимают ее как свободу своей мысли и свободу слова лишь для ее выражения!

Более рационально, аргументированно тот же запрет высказывается в такой форме: неоправдано любое суждение о целом народе, этим отрицается автономность человеческой индивидуальности, одни люди становятся ответственными за действия других. Но приняв такую точку зрения, мы должны были бы вообще отказаться от применения в истории общих категорий: сословие, класс, нация, государство. Впрочем, подобных возражений почему-то не вызывают ни такие мысли, как "Россией привнесено в мир больше зла, чем любой другой страной", ни раздающиеся в последнее время в США требования (еврейских авторов) больше освещать вклад (разумеется, положительный) евреев в американскую культуру (тоже ведь — суждение о целой нации!).

Главное же, никакого отрицания индивидуальности здесь не происходит. Мы, например, привели выше аргументы в пользу того, что разбираемая нами русофобская литература находится под сильным влиянием еврейских националистических чувств. Но ведь не все же евреи принимают в этой литературе участие! Есть и такие, которые против нее возражают (некоторых из них мы называли выше). Так что здесь вполне остается свобода проявления своей индивидуальности и ни на кого не возлагается ответственность за действия, им не совершенные.

Раз уж мы произнесли слово "ответственность", то позволим себе еще одно разъяснение. В этой работе мы вообще отказываемся от всяких "оценочных суждений", от постановки вопроса "кто виноват?" (и насколько). Дальше мы попытаемся лишь понять: что же происходило? Как отразилась на истории нашей страны та роль, которую некоторые слои еврейства играли в течение "революционного столетия" — от середины XIX до середины XX века?

8. Еврейское влияние в "революционный век"

В конце XIX в. устойчивая, замкнутая жизнь религиозных общин, объединявших почти всех живших в России евреев, стала быстро распадаться. Молодежь покидала религиозные школы и патриархальный кров и вливалась в русскую жизнь — экономику, культуру, политику — все больше влияя на нее. К началу XX в. это влияние достигло такого масштаба, что стало весомым фактором русской истории. Если оно было велико и в экономике, то особенно бросалось в глаза во всех течениях, враждебных тогдашнему жизненному укладу. В либерально-обличительной прессе, в левых партиях и террористических

группах еврей, как по их числу, так и по их руководящей роли, занимали положение, совершенно не сопоставимое с их численной долей в населении.

Естественно, что весь процесс особенно обострился, когда разразилась революция. В сборнике "Россия и еврей" мы читаем:

"Теперь еврей — во всех углах, на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом.."

Тем не менее, мысль, что "революцию делали одни еврей" — бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтоб ее было проще опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что еврей вообще "сделали" русскую революцию, т. е. были ее инициаторами, хотя бы в виде руководящего меньшинства.

Если начинать историю революции с Бакунина, Герцена и Чернышевского, то в их окружении не было никаких евреев, а Бакунин и вообще относился к евреям с антипатией. Когда возникли первые революционные прокламации ("К молодой России" и др.), в период "хождения в народ", и когда после его неудачи произошел поворот к террору, еврей в революционном движении был редким исключением. В самом конце 70-х годов в руководстве "Народной Воли" было несколько евреев (Гольденберг, Дейч, Зунделевич, Геся Гельфман), что после убийства Александра Второго привело к взрывам народного возмущения, направленного против евреев. Но как слабо было влияние евреев в руководстве организации, показывает то, что "Листок Народной Воли" ОДОБРИЛ эти беспорядки, объяснив их возмущением народа против евреев-эксплуататоров. К концу 80-х годов положение несколько изменилось. Согласно сводке, составленной министерством внутренних дел, среди известных ему политических эмигрантов еврей составляли немного более трети — 51 на 145. Только после создания партии эсеров еврей образовали прочное большинство в руководстве этого движения. Вот, например, краткая история Боевой Организации эсэров: ее создавал и ею с 1901-го по 1903 г. руководил Гершуни, с 1903-го по 1905 г. — Азеф, с 1906-го по 1907 г. — Зильберберг. После этого во главе встал Никитенко, но через два месяца был арестован, а в 1908 г. она была распущена (когда выяснилась роль Азефа). Обильный материал в этом отношении дают донесения Азефа, позже опубликованные. В одном из них он перечисляет членов заграничного комитета; Гоц, Чернов, Шишко, супруги Левиты, жена Гоца, Гуревич и жена Чернова, а в другом — "узкий круг руководителей партии": Мендель,

Виттенберг, Левин, Левит и Азеф. Аналогичную эволюцию мы видим и в социал-демократии. Идея, что не крестьяне, а рабочие могут стать главной революционной силой, была высказана применительно к России не евреями, а Якубовичем и особенно Плехановым, который начал пересадку марксизма на русскую почву. В социал-демократии сначала гораздо больше евреев было среди меньшевиков, чем среди большевистской фракции подавляющее большинство составляли евреи, а в большевистской — русские, и приводил известную "шутку", что неплохо бы устроить в русской социал-демократии небольшой еврейский погром), к большевикам еврейские силы стали приливать только перед самым октябрьским переворотом и особенно вслед за ним — от меньшевиков, из Бунда (многие вожди Бунда перешли в большевистскую партию), из беспартийных. После переворота несколько дней главой государства был Каменев, потом до своей смерти — Свердлов. Во главе армии стоял Троцкий, во главе Петрограда — Зиновьев, Москвы — Каменев. Коминтерн возглавлял Зиновьев, Профинтерн — А. Лозовский (Соломон Дризо), во главе комсомола стоял Оскар Рывкин и т. д.

Положение в 30-е годы можно представить себе, например, по следующим данным. Если в самом верховном руководстве число еврейских имен уменьшается, то в инстанциях ниже их влияние расширяется, уходит вглубь. В ответственных наркоматах (ОГПУ, Иностранного дела, тяжелой промышленности), в руководящей верхушке (наркомы, их заместители, члены коллегии) евреи занимали доминирующее положение, составляли заведомо больше половины. В некоторых же областях руководство почти сплошь состояло из евреев.

Но это все лишь количественные оценки. Каков же был характер того влияния, которое оказала на ту эпоху столь значительная роль радикального еврейства? Бросается в глаза особенно большая концентрация еврейских имен в самые болезненные моменты, среди руководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраивали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, разрушению исторических корней.

Например, из большинства мемуаров времен гражданской войны возникает странная картина: когда упоминаются деятели ЧК, поразительно часто всплывают еврейские фамилии — идет ли речь о Киеве, Харькове, Петрограде, Вятке или Туркестане. И это в то время, когда евреи составляли всего 1—2% населения Советской России! Так, Шульгин приводит список сотрудников Киевской ЧК: в нем почти исключительно еврейские фамилии. И рассказывает о таком примере ее деятельности: в Киеве до революции был "Союз русских националистов" — его членов расстреливали по спискам.

Особенно же ярко эта черта выступает в связи с расстрелом Николая II и его семьи. Ведь речь шла не об устранении претендентов на престол — вроде убийства Петра III или Павла I. Николай II был расстрелян именно как царь, этим ритуальным актом подводилась черта под многовековой эпохой русской истории, так что сравнивать это можно лишь с казнью Карла I в Англии или Людовика XVI во Франции. Казалось бы, от такого болезненного, оставляющего след во всей истории действия представители незначительного этнического меньшинства должны были бы держаться как можно дальше. А какие имена мы встречаем? Лично руководил расстрелом и стрелял в Царя Яков Юровский, председатель местного Совета был Белобородов (Вайсбарт), а общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин. Картина дополняется тем, что на стене комнаты, где происходил расстрел, было обнаружено (написанное по-немецки) двустихие из стихотворения Гейне о царе Валтасаре, оскорбившем Иегову и убитом за это. Или вот другая эпоха: состав верхушки ОГПУ в период раскулачивания и Беломорканала, в переломный момент нашей истории, — когда решалась судьба крестьянства: председатель Ягода (Игуда), заместители — Агранов, Трилиссер, позже Фриновский; начальник оперотдела — Валович, позже Наукер; начальник ГУЛАГа — Матвей Берман, потом Френкель; политотдела — Ляшков; хозяйственный отдел — Миронов; спецотдел — Гай, иностранный отдел — начальник Слуцкий, заместители — Борис Берман и Шпилгельгасс; транспортный отдел — Шанин. А когда Ягodu сменил Ежов, его заместителями были Заковский и Фриновский. Или, наконец, уничтожение Православной Церкви: в 20-е годы им руководил Троцкий (при ближайшем помощнике Шпицберге), а в 30-е Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман). Тот период, когда кампания приняла уже грандиозный размах, освежается в самиздатском письме покойного украинского академика Белоцкого. Он, например, приводит список основных авторов атеистической (т. е. почти исключительно анти-православной) литературы: Емельян Ярославский (Губельман), Румянцев (Шнайдер), Кандидов (Фридман), Захаров (Эдельштейн), Ранович, Шахнович, Скворцов, Степанов, а в более позднее время — Ленцман и Менкман.

Самая же роковая черта всего этого века, которую можно отнести за счет все увеличивающегося еврейского влияния, заключалась в том, что чисто либеральная, западническая или интернационалистическая фразеология прикрывала антinationальные тенденции. (Конечно, вовлеченными в это оказались и многие русские, украинцы, грузины). Тут — кардинальное отличие от Французской революции, в которой евреи не играли никакой роли. Там "патриот" — был термин, обозначающий революционера, у нас — контрреволюционера, его можно

было встретить и в смертном приговоре: расстрелян как заговорщик, монархист и патриот. И в России эта черта появилась не сразу. В мышлении Бакунина были какие-то национальные элементы, он мечтал о федерации анархически-свободных славянских народов. Та приманка, которая заманивала большинство молодежи в революцию, была любовь и сострадание к народу, т. е. тогда — к крестьянству. Но рано началась и обратная тенденция. Так, А. Тихомиров рассказывает о В. А. Зайцеве (мы уже цитировали его высказывание, что "рабство в крови русских"): "Еврей, интеллигентный революционер, он с какой-то бешеной злобой ненавидел Россию и буквально проклинал ее". Это "антипатриотическое" настроение возобладавало в 20-е и 30-е годы. Зиновьев призывал тогда "подсекать головку нашего русского шовинизма", "каленным железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм", Яковлев (Эпштейн) сетовал, что "через аппарат проникает подлый великодержавный русский шовинизм". Что же понималось под "великодержавным шовинизмом" и что означала борьба с ним? Бухарин разъяснял: "...мы, в качестве бывшей великодержавной нации, должны (...) поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям". Он требовал поставить русских "в положение более низкое по сравнению с другими..." Сталин же раз за разом, начиная с X съезда и кончая XVI-м, декларировал, что "великодержавный шовинизм" является главной опасностью в области национальной политики. Тогда термин "РУСО-ПЯТ" был вполне официальным, его можно было встретить во многих речах тогдашних деятелей. "Антипатриотическое" настроение пропитало и литературу. Безыменский писал:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.

Или:

Я предлагаю
Минина расплавить,
Пожарского,
зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить
Их за прилавками
Октябрь застал,
Случайно им
Мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы подстать,

Подумаешь,
Они спасли Расею!
А может, лучше было б не спасать?

Занятие русской историей включало в себя как обязательную часть выливание помоев на всех, кто играл какую-то роль в судьбах России — даже за счет противоречия с убеждениями самих исследователей: ибо был ли, например, Петр Великий сифилитиком или гомосексуалистом, это ведь не оказывало никакого влияния на "торговый капитал", "выразителем интересов которого он являлся". Через литературу и школу это настроение проникало и в души нынешних поколений — и вот, например, Л. Плющ называет Кутузова "реакционным деятелем"!

Здесь уместно рассмотреть часто выдвигаемое возражение: евреи, принимавшие участие в этом течении, принадлежали к еврейству лишь по крови, но по духу они были интернационалистами; то, что они были евреями, никак не влияло на их деятельность. Именно эту точку зрения имеет, конечно, в виду Померанц, когда пишет, что если считать Троцкого евреем, то Врангеля надо считать немцем. Кем же они в действительности были? "Этот вопрос кажется мне неразрешимым", — говорит Померанц. В то же время, по крайней мере в отношении Троцкого, положение не представляется столь безнадежным. Например, в одной из его биографий читаем: "Судя по всему, рационалистический подход к еврейскому вопросу, которого требовал от него исповедуемый им марксизм, никак не выражал его подлинных чувств. Кажется даже, что он был "одержим" по-своему этим вопросом: он писал о нем чуть ли не больше, чем любой другой революционер".

Как раз сравнение с Врангелем поучительно: заместителем Троцкого был Эфраим Склянский, а Врангеля — генерал Шатилов, отнюдь не немец. И не известно признаков какой-либо особой симпатии к Врангелю, стремления его реабилитировать со стороны немецких публицистов, в то время как с Троцким дело обстоит не так: например, тот же Померанц сравнивает трудармии Троцкого с современной посылкой студентов на картошку! Тогда как сам Троцкий пользовался совсем другим сравнением — с крепостным правом, которое он объявлял вполне прогрессивным для своего времени. Или В. Гроссман в романе "Все течет", развенчивая и Сталина, и Ленина, пишет: "блестящий", "бурный, великолепный", "почти гениальный Троцкий".

Не только этот пример Померанца неудачен, но можно привести много примеров того, что как либеральные, так и революционные деятели еврейского происхождения находились под воздействием мощных националистических чувств. (Конечно, из этого не следует, что так было со всеми.) Например, Винавер — один из самых влиятельных руко-

водителей конституционно-демократической ("кадетской") партии — после революции превратился в активнейшего сиониста. Или возьмем момент, когда создавалась партия эсэров. В своих воспоминаниях один из руководящих деятелей того времени (позже — один из вождей Французской компартии) Шарль Раппопорт пишет: "Хаим Житловский, который вместе со мной основал в Берне "Союз русских социалистов-революционеров", из которого выросла в дальнейшем партия эсэров, этот пламенный и искренний патриот убеждает меня дружески: будь, кем хочешь — социалистом, коммунистом, анархистом и так далее, но в первую очередь будь евреем, работай среди евреев, еврейская интеллигенция должна принадлежать еврейскому народу".

Взгляды самого Раппорта таковы: "Еврейский народ — носитель всех великих идей единства и человеческой общности в истории (...). Исчезновение еврейского народа будет обозначать гибель человечества, окончательное превращение человека в дикого зверя".

Очень трудно представить себе, чтобы деятельность таких политиков (в качестве ли кадетов, эсэров или французских коммунистов) не отражала их национальных чувств. Следы этого можно действительно увидеть, например, в истории партии эсэров. Так, два самых знаменитых террористических акта, потребовавших наибольшего напряжения сил Боевой Организации, были направлены против Плеве и великого князя Сергея Александровича, которых молва обвиняла в антисемитизме. Зубатов вспоминал, что в разговоре с ним Азеф "трясся от злости и ненависти, говоря о Плеве, которого он считал ответственным за Кишиневский погром".

Вот другой пример. Советский историк М. И. Покровский рассказывает: "... я знал, что еще в 1907 году кадетская газета "Новь" в Москве субсидировалась некоторого рода синдикатом еврейской буржуазии, которая больше всего заботилась о национальной стороне дела и, находя, что газета недостаточно защищает интересы евреев, приходила к нашему большевистскому публицисту М. Г. Лунцу и предлагала ему стать редактором газеты. Он был крайне изумлен, говоря: "Как же, — ведь газета кадетская, а я большевик". Ему говорят: "Это все равно. Мы думаем, что ваше отношение к национальному вопросу более четкое".

Мысль, что политический переворот может быть инструментом для достижения национальных целей, не чужда еврейскому сознанию. Так, Витте рассказывает, что когда он в 1905 году вел в Америке переговоры о заключении мирного договора с Японией, к нему пришла "делегация еврейских тузов", в том числе Яков Шифф, "глава еврейского финансового мира в Америке". Их волновал вопрос о положении евреев в России. Слова Витте, что "предоставление сразу равноправия принесет больше вреда, чем пользы", "вызвали со стороны Шиффа резкое

возражение". Шульгин приводит, со ссылкой на первоисточники, версию одного из еврейских участников этой встречи о том, в чем заключалось "возражение" Шиффа. По его словам, Шифф сказал: "... в таком случае революция воздвигнет республику, при помощи которой права будут получены".

В качестве продолжения этой истории можно привести другую, имевшую место в 1911—1912 гг. В эти годы в Америке разыгралась бурная кампания протеста против того, что, согласно тогдашним русским законам, въезд американских евреев в Россию был ограничен. Требовали разрыва русско-американского торгового договора 1832 г. (Договор и был расторгнут, совершенно так же, как в наши дни торговый договор не был подписан из-за того, что был ограничен въезд евреев из СССР в США). Выступая на митинге, министр продовольствия Герман Леб (вышеупомянутый Шифф был главным директором банка Кун, Леб и Ко) сказал, что расторжение договора — это хорошо, но еще лучше — переправить в Россию контрабандой оружие и послать сотню инструкторов: "Пусть они обучат наших ребят, пусть научат их убивать угнетателей, как собак. Трусливая Россия вынуждена была уступить маленьким японцам. Она уступит и Избранному Богом Народу (...) Деньги помогут нам добиться этого".

Таких примеров можно привести гораздо больше. Они недостаточны, конечно, для того, чтобы понять, как именно влияли национальные чувства на политических деятелей-евреев, но показывают, что такое влияние во многих случаях несомненно существовало.

9. Прошлое и настоящее

Почему случилось так, что именно выходцы из еврейской среды оказались ядром того "Малого Народа", которому выпала роковая роль в кризисную эпоху нашей истории? Мы не будем пытаться вскрыть глубинный смысл этого явления. Вероятно, основы — религиозные, связанные с верой в "Избранный Народ" и в предназначенную ему власть над миром. Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах:

"... Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, и Иакову дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил".

"...Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем. Я поражаю тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе.

Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся".

"И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чуже-

странцев будут вашими землевладельцами и вашими виноградарями".

"...И будут цари питателями твоими, и царицы кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих".

Именно это мировоззрение "Избранного Народа" явилось прототипом идеологии "Малого Народа" во всех его исторических воплощениях (что особенно ясно видно на примере пуритан, пользовавшихся даже той же терминологией — из новейших авторов ею пользуется Померанц).

Однако здесь я укажу на самую очевидную причину — почти двухтысячелетнюю изоляцию и подозрительное, враждебное отношение к окружающему миру. Конечно, встает также вопрос о причинах и смысле этой изоляции. Например, такой тщательный и объективный исследователь, как Макс Вебер, считает, что изоляция еврейства была не вынужденной, а добровольно избранной, задолго до разрушения Храма. В этом с ним соглашается и советский историк С. Лурье в работе "Антисемитизм в древнем мире". Он полагает, что в эпоху, предшествовавшую разрушению Храма, большинство евреев уже жило в диаспоре, а Иудея играла роль культового и национального центра (очевидно, несколько напоминая современное государство Израиль).

Но чтобы не углубляться в эту цепь загадок, мы примем за данное ее конечное звено — расселение и изоляцию. Двадцать веков было прожито среди чужих народов в полной изоляции от всех влияний внешнего мира, воспринимаемого как "трейф", источник заразы и греха. Хорошо известны высказывания Талмуда и комментариев к нему, в которых с разных точек зрения разъясняется, что иноверца (акума) нельзя рассматривать как человека: по этой причине не следует бояться осквернить их могилы; в случае смерти слуги-акума не следует обращаться с утешением к его господину, но выразить надежду, что Бог возместит его убыток — как в случае падежа скота; по той же причине брак с акумом не имеет силы, его семья все равно, что семья скота, акумы — это животные с человеческими лицами и т. д. и т. п. Тысячи лет каждый год в праздник "Пурим" праздновалось умерщвление евреями 75.000 их врагов, включая женщин и детей, как это описано в книге Эсфири. И празднуется до сих пор — в Израиле по этому поводу происходит веселый карнавал! Для сравнения представим себе, что католики ежегодно праздновали бы ночь св. Варфоломея! Сошлюсь, наконец, на источник, который уж никак нельзя заподозрить во враждебности к евреям: известный сионист, друг и душеприказчик Кафки, Макс Брод в своей книге о Рейхлине сообщает об известной ему еврейской молитве против иноверцев с призывами к Богу лишить их надежды, разметать, низринуть, истребить в одно мгновение и "в наши дни". Можно представить себе, какой неизгладимый след должно было оставить в душе такое воспитание, начи-

навшееся с детства, и жизнь, прожитая по таким канонам, и так из поколения в поколение — 20 веков!

Какое отношение к окружающему населению могло возникать на этой почве, можно попытаться восстановить по мелким черточкам, разбросанным во многих источниках. Например, в своем дневнике молодой Лассаль, не раз негодуя по поводу угнетенного положения евреев, говорит, что мечтал бы встать во главе их с оружием в руках. В связи со слухами о ритуальных убийствах он пишет: "Тот факт, что во всех уголках мира выступают с подобными обвинениями, мне кажется, предвещает, что скоро наступит время, когда мы действительно освободимся пролитием христианской крови. Игра началась, и дело за игроками".

Если еще принять во внимание злобность и злопамятность, которые видны из каждой страницы этого дневника, то легко представить себе, что такие переживания должны были оставить след на всю жизнь. Или вот Мартов (Цедербаум), вспоминая страх, испытанный в трехлетнем возрасте при ожидании погрома (толпа была разогнана казаками еще до того, как дошли до дома Цедербаумов), задумывается: "Был бы я тем, чем стал, если бы на пластической юной душе российская действительность не поспешила запечатлеть своих грубых перстов и под покровом всколыхнутой в детском сердце жалости заботливо сохранить семена спасительной ненависти?"

Более явные свидетельства можно найти в литературе. Например, "спасительная ненависть" широко разлита в стихах еврейского поэта, жившего в России — Х. Бялика.

"Я для того замкнул в твоей гортани,
О человек, стенание твое;
Не оскверни, как те, водой рыданий
Святую роль святых своих страданий,
Но береги нетронутой ее.
Лелей ее, храни дорожке клада
И замок ей построй в твоей груди,
Построй оплот из ненависти ада —
И не давай ей пищи, кроме яда
Твоих обид и ран твоих, и жди
И возрастет взлелеянное семя,
И жгучий даст и полный яду плод —
И в грозный день, когда свершится время,
Сорви его — и брось его в народ!"

У него же:

"Из бездны Авадонна вознесите песнь о Разгроме
Что, как дух ваш, черна от пожара,
И рассыптесь в народах, и все в проклятом их доме
Отравите удушьем угара;
И каждый да сеет по нивам их семя распада
Повсюду, где ступит и станет.
Если только коснетесь чистойшей из лилий их сада,
Почернеет она и завянет".

Презрение и брезгливость к русским, украинцам, полякам, как к существам низшего типа, недо-человекам, ощущается почти в каждом рассказе "Конармии" И. Бабеля. Полноценный человек, вызывающий у автора уважение и сочувствие, встречается там только в образе еврея. С нескрывтым отвращением описывается, как русский отец режет сына, а потом второй сын — отца ("Письмо"), как украинец признается, что не любит убивать, расстреливая, а предпочитает затапывать насмерть ногами ("Жизнеописание Павличенка, Матвея Родионыча"). Но особенно характерен рассказ "Сын Рабби". Автор едет в поезде вместе с отступающей армией: "И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо платяных вшей, затопала лаптями по обе стороны вагонов".

Холодное отстранение от окружающего народа часто передают стихи Э. Багрицкого, в стихотворении же "Февраль" прорывается крайняя ненависть. Герой становится после революции помощником комиссара:

"Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа..
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которых седой спиралью
Спадали пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной..
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь."

Однажды, во время налета на подозрительный дом, автор узнает девушку, которую он видел еще до революции, она была гимназисткой, часто проходила мимо него, а он вздыхал, не смея к ней подойти. Сейчас она стала проституткой:

"Я — Ну, что! узнала?

Тишина.

— Сколько дать вам за сеанс?

И тихо,

Не раздвинув губ, она сказала:

— Пожалей меня! Не надо денег...

Я швырнул ей деньги,

Я ввалился

Не стянув сапог, не сняв кобуры...

Я беру тебя за то, что робок

Был мой век, за то, что я застенчив,

За позор моих бездомных предков,

За случайной птицы щебетанье!

Я беру тебя, как мщение миру,

Из которого не мог я выйти!"

Мне кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова. Это отнюдь не забавное высмеивание пошлости эпохи НЭПа. В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — и все они изображены, как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость и отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно было бы осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить, чувство общности с ними, как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами; про другого рассказывается, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной... Такие существа не вызывают сострадания, истребление их — нечто вроде веселой охоты, где дышится полной грудью, лицо горит, и ничто не омрачает удовольствия.

Эти чувства, пронесенные еще одним поколением, дожили до наших дней и часто прорываются в песнях бардов, стихах, романах и мемуарах. Бурный взрыв тех же эмоций можно наблюдать в произведениях недавних эмигрантов. Вот, например, стихотворение недавно эмигрировавшего Д. Маркиша, напечатанное уже в Израиле в журнале "Сион":

"Я говорю о нас, сынах Сиона,

О нас, чей взгляд иным теплом согрет,

Пусть русский люд ведет тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.

Мы ели хлеб их, но плевали кровью,
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим — цветами в изголовье
Их северной страны.

Когда сотрется лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы станем у березового гроба
В Почетный караул..."

Под конец приведем выдержку из журнала, издающегося на русском языке в Торонто: "Не промолчи, Господи, вступишь за избранных Твоих, не ради нас, ради клятвы Твоей отцам нашим — Аврааму, Исааку и Якову. Напусти на них Китайца, чтобы славили они Мао и работали на него, как мы на них. Господи, да разрушит Китаец все русские школы и разграбит их, да будут русские насильно интернированы, да забудут они свой язык и письменность. Да организует он им в Гималаях Русский национальный округ".

Часто приходится слышать такой аргумент: многие поступки и чувства евреев можно понять, если вспомнить, сколько они испытали. Например, некоторые стихи Бялика написаны под впечатлением погрома, у Д. Маркиша отец расстрелян при Сталине по "процессу сионистов", другие помнят черту оседлости, процентную норму или какие-то более поздние обиды. Здесь надо еще раз подчеркнуть, что мы не собираемся в этой работе никого судить, обвинять или оправдывать. Сама постановка такого вопроса вряд ли имеет смысл: оправдывает ли унижение немцев по Версальскому миру действия национал-социализма? Мы хотели только представить, что происходило в нашей стране, какие социальные и национальные факторы и как на ее историю влияли.

Начиная с пореформенных 60-х годов, в России у всех на устах появилось слово "Революция". Это был явный признак приближающегося кризиса. И как другой его признак стал формироваться "Малый Народ" со всеми присущими ему чертами. Создавался новый тип людей, вроде молодого человека (о нем рассказывает Тихомиров), с гордостью произносившего: "Я отщепенец" — или Ишутинского кружка "Ад", в программе которого стояло: "Личные радости заменить ненавистью и злом — и с этим научиться жить". Но можно понять, какая это была мучительная операция, как трудно было отрывать человека от его корней, как бы выворачивать наизнанку, как для этого надо бы-

ло осторожно, шаг за шагом, посвящать его в новое учение, подавлять силой авторитетов. И насколько проще все было с массой еврейской молодежи, не только не связанной общими корнями с этой страной и народом, но и воспринявшей с самого детства враждебность к этим корням, когда враждебная отчужденность от духовных основ окружающей жизни усваивалась не из книг и рефератов, а впитывалась с раннего детства, часто совершенно бессознательно, из интонаций в разговорах взрослых, из случайно услышанных и запомнившихся на всю жизнь! И хотя чувства, отразившиеся в приведенных выше отрывках, вероятно, испытывали далеко не все евреи, но именно то течение, которое было ими проникнуто, с неслыханной энергией вторгалось в жизнь и смогло оказать на нее особенно сильное и болезненное влияние.

Надо признать, что кризис нашей истории протекал в совершенно уникальный момент. Если бы в то время, когда он разразился, евреи вели такой изолированный образ жизни, как, например, во Франции во время Великой революции, то они и не оказали бы заметного влияния на его течение. С другой стороны, если бы жизнь местечковых общин стала разрушаться гораздо раньше, то, возможно, успели бы укрепить какие-то связи между евреями и остальным населением, отчужденность, вызванная двухтысячелетней изоляцией, не была бы так сильна. Кто знает, сколько поколений нужно, чтобы стерлись следы 20-вековой традиции? — но нам практически не было дано ни одного: прилив евреев в террористическое движение почти точно совпал с "эмансипацией", началом распада еврейских общин, выходом из изоляции. Пинхус Аксельрод, Геся Гельфман и многие другие руководители террористов происходили из таких слоев еврейства, где вообще было нельзя услышать русскую речь. С узелком за плечами отправлялись они изучать "гойскую науку" и скоро оказались среди руководителей движения. Совпадение д в у х кризисов оказалось решающее воздействие на характер той эпохи. Вот как это виделось еврейским наблюдателям (все по той же книге "Россия и евреи"): "И, конечно, не случайно, то, что евреи, так склонные к рационалистическому мышлению, не связанные в своем большинстве никакими традициями с окружающим их миром, часто в этих традициях видевшие не только бесполезный, но и вредный для развития человечества хлам, оказались в такой близости к этим революционным идеям".

И как закономерное следствие: "Поражало нас то, чего мы всего меньше ожидали встретить в еврейской среде: жестокость, садизм, насильничество, казалось, чуждые народу, далекому от физической воинственной жизни; вчера еще неумевшие владеть ружьем, сегодня оказались среди начальствующих головорезов".

Эта примечательная книга кончается словами: "Одно из двух: либо

иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к родине. Третьей возможности у евреев нет”.

Но нашлось течение, выбравшее именно третий "невозможный", с точки зрения автора, путь. Не только не любовь к родине, но полная отчужденность, активная враждебность ее духовным началам, и не только не отказ от политических прав, но напряжение всей воли и сил для воздействия на жизнь страны. Такое соединение оказалось поразительно эффективно; оно создало "Малый Народ", который по своей действительности превзошел все другие варианты этого явления, возникшие в Истории.

10. Заключение

Мы видим, что сегодняшняя ситуация уходит корнями далеко в прошлое. На традиции двухтысячелетней изоляции накладываются страшные реминисценции более близкого прошлого, они давят на современное сознание, которое стремится вытолкнуть их, переориентировать возникающие на их основе чувства. Так создается тот болезненный национальный комплекс, на счет которого надо, по-видимому, отнести самые резкие обертоны в современной литературе "Малого Народа", раздраженные выпады против русских и русской истории.

Но для нас — русских, украинцев, белорусов — этот сгусток больших вопросов жгуче современен, никак не сводится только к оценке нашей истории. Трагичнее всего он проявляется в положении молодежи. Не находя точек зрения, которые помогли бы ей разобраться в проблемах, выдвигаемых жизнью, она надеется найти свежие мысли, узнать новые факты — из иностранного радио. Или старается добыть билет в модный театр с ореолом независимости, чтобы с его подмостков услышать слово правды. В любом случае крутит пленки с песенками Галича и Высоцкого. Но отовсюду на нее льется, ей навязывается как вообще единственно-мыслимый взгляд та же идеология "Малого Народа": надменно-ироническое, глумливое отношение ко всему русскому, даже к русским именам; концепция — "в этой стране всегда так было и быть ничего хорошего не может", образ России — "Страны дураков". И перед этой отточенной, проверенной на практике, усовершенствованной долгим опытом техникой обработки мозгов растерянная молодежь оказывается АБСОЛЮТНО БЕЗЗАЩИТНОЙ. Ибо ведь никто из тех, кто мог бы быть для нее авторитетом, ее не предупредит, что она имеет дело просто с неким вариантом пропаганды — хоть и очень ядовитой, но покоящейся на более чем хрупкой фактической основе.

На нашем горизонте опять вырисовывается зловещий силуэт "Малого Народа". Казалось бы, наш исторический опыт должен был вырабо-

тать против него иммунитет, обострить наше зрение, научить различать этот образ — но боюсь, что не научил. И понятно почему: была разорвана связь поколений, опыт не передавался от одних к другим. Вот и сейчас мы под угрозой, что наш опыт не станет известен следующему поколению.

Зная роль, которую "Малый Народ" играл в истории, можно представить себе, чем чревато его новое явление: реализуются столь отчетливо провозглашенные идеалы — утверждение психологии "перемещенного лица", жизни без корней, "хождение по воде", т. е. **ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ**. И в то же время при первой возможности — безоглядно-решительное манипулирование народной судьбой. А в результате — новая и последняя катастрофа, после которой от нашего народа, вероятно, уже ничего не останется. Злободневно звучит призыв, приведенный в самом конце предшествующего параграфа: сделать выбор между положением иностранцев без политических прав и гражданством, основанным на любви к родине, — он логически адресуется ко всему "Малому Народу". Каждый из тех, кого мы столько раз цитировали, от Амальрика до Янова, имеет право презирать и ненавидеть Россию, но они сверх этого хотят определить ее судьбу, составляют для нее планы и готовы взять на себя их исполнение. Такое сочетание типично в истории "Малого Народа", именно оно приносит ему успех. Оторванность от психологии "Большого Народа", неспособность понять его исторический опыт, которая в обычное время могла бы восприниматься как примитив и ущербность, в кризисных ситуациях обеспечивает важнейшие возможности особенно смело резать и кроить его живое тело.

Что же мы можем противопоставить этой угрозе? Казалось бы, с мыслями можно бороться мыслями же, слову противопоставить слово. Однако, дело обстоит не так просто. Уже по тем образцам литературы "Малого Народа", которые были приведены в нашей статье, можно видеть, что эта литература вовсе не результат объективной работы мысли, не апелляция к жизненному опыту и логике. Мы встречаемся здесь с какой-то другой формой передачи идеологических концепций, причем присущей всем историческим вариантам "Малого Народа".

Такая очень специфическая деятельность по "направлению общественного мнения" сложилась, по-видимому, уже в XVIII в. и была описана Кошеном. Она предусматривает, например, колоссальную, но кратковременную концентрацию общественного внимания на некоторых специфических событиях или людях, — от процесса Каласа, когда чудовищная несправедливость приговора, разоблаченная Вольтером, потрясла Европу (и про который историки заверяют, что никакой

судебной ошибки вообще не было) — до дела Дрейфуса или Бейлиса. Или фабрикацию и поддержание авторитетов, основывающихся исключительно на силе гипноза. "Они создают репутации и заставляют аплодировать скучнейшим авторам и лживым книгам, если только это — свои", — говорит Кошен. — "Сейчас трудно представить себе, что морализирование Мабли, политические изыскания Кондорсе, история Рейналя, философия Гельвеция, эта пустота безвкусной прозы — могли выдержать издания, найти дюжину читателей; а между тем все их читали, или, по крайней мере, покупали и о них говорили". Точно так же пониманию наших потомков будет недоступно влияние Фрейда, как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо, писателя Кафки или поэта Бродского...

Таким образом, логика, факты, мысли в такой ситуации бессильны, это подтверждает весь ход Истории. Только индивидуальный исторический опыт народа может помочь здесь отличить правду от лжи. Но уж если у кого такой опыт есть — то именно у нашего народа! И в этом, конечно, главный залог того, что мы сможем противостоять новому явлению "Малого Народа". Наш опыт — трагический, но и глубокий — несомненно изменил глубинные слои народной психики. Надо, однако, его ОСОЗНАТЬ — облечь в форму, доступную не только эмоциям, но и мыслям, выработать, опираясь на него, наше отношение к основным проблемам современности. Мне представляется, что именно такова сейчас основная задача русской мысли.

Поэтому мы просто не имеем права допустить, чтобы только-только возрождающаяся тяга к осмыслению нашего национального пути была вытоптана, заплевана, чтобы ее столкнули на дорогу крикливой журналистской полемики. Как же тогда защитим мы национальное сознание и особенно сознание молодежи от навязываемого комплекса обреченности, от внушаемого взгляда, что наш народ способен быть лишь материалом для чужих экспериментов?

Много столетий складывается духовный облик народа, вырабатываются органически связанные друг с другом навыки общественного существования — и только опираясь на них, историческая эволюция может создать устойчивые, естественные для этого народа формы жизни. Например, публицисты "Малого Народа" часто подчеркивают, что в русской истории большую роль играло сильное государство — и в этом они, видимо, правы. Но значит, если, по их советам, внезапно полностью устранить каким-то образом роль государства, оставив в качестве единственных действующих в обществе сил ничем не ограниченную экономическую и политическую конкуренцию, то результатом может быть только быстрый и полный развал. Те же самые аргументы приводят к обратному выводу: что государство, по-видимому, должно еще длительный срок играть большую роль в жизни нашей страны. Ка-

кую конкретно роль — может показать только сама жизнь. Конечно, какие-то функции государства могут быть ограничены, переданы другим общественным силам. Само же по себе сильное влияние государства совсем не обязано быть пагубным — равно как не обязано быть и плодотворным. Государство способствовало закреплению крестьян в России в XVII—XVIII вв., но оно же осуществило освобождение крестьян в XIX в. Та же картина почти во всех вопросах — всегда можно найти выход, не порывающий с исторической традицией, и только такой путь приведет к жизненному, устойчивому решению, так как он опирается на мудрость многими веками выработавшихся, проверившихся, отбирившихся и пришлифовавшихся друг к другу черт и навыков народного организма. Конкретное осознание этой точки зрения и есть та сила, которую мы можем противопоставить "Малому Народу", которая защитит нас от него.

Тысячелетняя история выковала такие черты русского национального характера, как вера в то, что судьба человека и судьба народа нераздельны в своих самых глубоких пластах и сливаются в роковые минуты истории, как связь с Землей — землей в узком смысле, которая родит хлеб, и с Русской землей. Эти черты помогли нам пережить страшные испытания, жить и трудиться в условиях иногда почти нечеловеческих. В этой древней традиции заложена вся надежда на наше будущее. За нее-то и идет наша борьба с "Малым Народом".

Человек рождается и умирает, как правило, среди своего народа. Поэтому его окружение воспринимается им как нечто совершенно естественное и обычно не вызывает никаких вопросов. На самом деле, народ — одно из поразительнейших явлений и загадок на нашей Земле. Почему возникают эти общности? Какие силы поддерживают их веками и тысячелетиями? До сих пор все попытки ответить на эти вопросы столь явно били мимо цели, что скорее всего мы имеем здесь дело с явлением, к которому стандартные приемы "понимания" современной науки вообще не применимы. Легче указать, зачем народы нужны людям. Принадлежность к своему народу делает человека причастным Истории, загадкам прошлого и будущего. Он может чувствовать себя не просто частичкой "живого вещества", зачем-то перерабатываемого гигантской фабрикой Природы. Он способен ощутить (чаще — подсознательно) значительность и высшую осмысленность земного бытия человечества и своей роли в нем. Аналогично "биологической среде", народ — это "социальная среда обитания" человека: чудесное творение, поддерживаемое и созданное нашими действиями, но не по нашим замыслам. Во многом она превосходит возможности нашего понимания, но часто и трогательно-беззащитна перед нашим бездумным вмешательством. На Историю можно смотреть как на двусторонний процесс взаимодействия человека и его "среды социального обитания" —

народа. Мы сказали, что дает народ человеку. Человеком же создаются силы, скрепляющие народ и обеспечивающие его существование: язык, фольклор, искусство, осознание своей исторической судьбы. Когда этот двусторонний процесс разлаживается, происходит то же, что и в природе: среда превращается в мертвую пустыню, а с ней гибнет и человек. Конкретнее, исчезает интерес человека к труду и к судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает.

Таков конец, к которому толкает "Малый Народ", неустанно трудящийся над разрушением всего того, что поддерживает существование "Большого Народа". Поэтому создание оружия духовной защиты от него — вопрос национального самосохранения. Такая задача полезна лишь всему народу. Но есть более скромная задача, которую мы можем решить только индивидуально: СКАЗАТЬ ПРАВДУ, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова. Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Не вдаваясь в спор по книге И. Шафаревича, мы вместо этого предлагаем читателю два отклика на нее, полученные из Советского Союза и достаточно ярко, по нашему мнению, характеризующие спектр взглядов либерального лагеря внутри СССР.

Выступление филолога С. Лезова на состоявшейся в марте 1988 г. в Москве дискуссии по проблемам антисионизма содержит глубокий и точный анализ сущности и возможного будущего идеологических концепций, развиваемых И. Шафаревичем. Это анализ с последовательно-русской либерально-демократической позиции.

Публикуемое далее "Открытое письмо" принадлежит математику Б. Кушнеру. Его автор достаточно осознает свои корни, чтобы с той же четкостью и последовательностью выразить свою, еврейскую, позицию.

Сергей Лезов

Национализм как возможная альтернатива официальной советской идеологии

Поводом для нашей встречи послужило письмо, за основные положения которого ответственен я (см. примечание в конце публикации. — Ред.) Поэтому мне хочется сказать следующее. Я русский человек по национальности и культурной принадлежности, я советский человек по своему социальному опыту. Меня могли бы

не волновать ни проблема сионизма, ни проблема еврейской культуры, обсуждению которых сегодня была отведена значительная часть времени. В начале нашей встречи я уже говорил, что с точки зрения нашего письма главным являются не эти проблемы, а проблема **антисемитизма**. И сейчас я хочу изложить — конечно, предельно схематично — свое понимание современного антисемитизма в нашей стране.

Рассмотрим вначале место антисемитизма в официальной идеологии. Как известно, для нее характерны тотальность и дуализм. Под тотальностью я имею в виду ее притязание дать ответы на все вопросы человеческого бытия. Под дуализмом — четкое определение светлого и темного полюсов, поляризацию социальной реальности по признаку “свои — чужие”, “друзья — враги”. Так, в новой программе КПСС можно прочесть: “Цитадель международной реакции — империализм США. Именно от него прежде всего исходит угроза войны. Претендуя на мировое господство...” и так далее. Легко заметить, что в этой идеологии присутствует не только образ врага (о его функциях мы уже говорили сегодня, рассматривая в качестве примера идеологию национал-социализма), в ней присутствует и идея заговора...

Меня могут спросить, при чем здесь евреи и антисемитизм. В предыдущих выступлениях официальная антисюионистская пропаганда анализировалась как общественное явление, обусловленное наличием в стране еврейского населения. В действительности, антисюионистская пропаганда достигла такого размаха еще и (а может быть, прежде всего) потому, что она удовлетворяет определенные политические потребности и интересы. С некоторых пор официальная идеология отводит евреям (космополитам, сионистам) роль агентов главного врага, то есть американского или мирового империализма. Дадиани с соавторами так и пишут: “Сионизм и его составная часть — правящие круги Израиля — выступают в качестве союзника-агента империализма в борьбе против всех революционных сил современности”.

Понятно, что дуалистическая идеология нуждается в достаточно наглядном образе “темного полюса”. Но почему именно евреи оказались, еще в конце 40-х годов, выбраны на эту роль? И почему эта роль навязывается им по сей день?

Отчасти ответ на этот вопрос был дан в ходе сегодняшней дискуссии, когда мы услышали образ истории русских евреев в XX веке. Ясно, что причина заключается в исторических судьбах ев-

рейского народа. В криминологии есть такое понятие “виктимность”, означающее способность или предрасположенность человека становиться жертвой преступления. Так вот, исторические судьбы евреев в европейском мире сложились так, что они стали высоко виктимной социальной группой. Я не буду подробно останавливаться на этих судьбах: относящиеся сюда факты общеизвестны. Важно другое обстоятельство: со времени борьбы с космополитизмом зарубежные (пусть потенциальные) связи советских евреев придавали достоверность предназначенной им роли агентов империализма. В какой-то мере это положение сохраняется и сейчас. Существование государства Израиль и другие внешнеполитические обстоятельства придали антисемитизму, существующему в рамках официальной идеологии, новый облик: из (преимущественно) антикосмополитизма он трансформировался в современный советский антисиионизм.

Вторая тема — соотношение официального антисемитизма и нарастающего общественного антисемитизма, против которого в первую очередь и хотели протестовать инициаторы несостоявшегося митинга, намеченного на 13 сентября.

Мы все видим, что официальная идеология переживает период распада. С этим связано и утверждение нашего “Письма” о том, что “политическая ситуация нестабильна” и что в этой нестабильности может скрываться опасность для евреев.

В самом деле, распадающаяся на наших глазах идеология производна по отношению к политической культуре общества. Это культура, которой чужды либеральные ценности. Идеология может уйти или измениться, но основы политической культуры общества останутся неизменными. У нас отсутствует прочная либерально-демократическая традиция, которая, на мой взгляд, могла бы стать спасительной для нашего больного общественного организма.

Поскольку наша политическая культура нелиберальна, а принципы тотальности и мировоззренческого дуализма относятся к ее глубинным основам, то всерьез конкурировать с умирающей официальной идеологией в состоянии лишь идеологии, основанные на тех же принципах. И наш сегодняшний разговор о русском национализме подтверждает, что его идеология построена примерно по тем же правилам, что и официальная.

В обеих идеологиях присутствует тотальность, отвечающая потребности в простом и всеохватывающем истолковании со-

циального опыта. Идеологии русского национализма свойствен и дуализм. Вероятно, дуализм (в латентной форме) не чужд всякому мировоззрению, основанному на национальных ценностях (деление реальности по признаку "свое — чужое"). Что же касается новейшей русской национальной идеологии, то на каждой из своих последующих стадий она становится агрессивней и, соответственно, дуалистичнее, чем на предыдущей. Александр Солженицын, Владимир Осипов периода журнала "Вече", Геннадий Шиманов, Игорь Шафаревич, наконец — общество "Память": развитие в этом ряду идет именно в сторону усиления агрессивности. Вероятно, такова закономерность национально ориентированного мировоззрения, оказавшегося в известной (условно говоря, "неблагоприятной") исторической ситуации. В самом деле, между гуманистическим, демократическим национализмом Солженицына и национал-социализмом "Памяти" — "дистанция огромного размера", но сейчас мы уже не можем не видеть преемственности в этом ряду.

Я думаю, что и в синхронном плане можно тоже обнаружить содержательную связь между культурно и религиозно ориентированным национальным сознанием (представленным, например, академиком Лихачевым) и популистской агитацией "Памяти". Связь существует, хотя сторонники "Памяти" (и это понятно) ненавидят Лихачева, а у того истеричный визг и отвратительный язык обращений "Памяти" может, вероятно, вызывать прежде всего чувство брезгливости.

Как известно, новейший национализм считает темным полюсом, источником всех зол мировой сионистский заговор. Пожалуй, теперь уже не столько "еврейский" или "жидо-масонский", сколько именно "сионистский". Именно "сионизм" стал ключевым словом для обозначения врага в идеологии русского национализма на советской почве. И здесь, товарищи антисионисты, вы должны вспомнить все, что говорилось сегодня о взаимосвязи между официальным и общественным антисемитизмом, о их взаимопроникновении. Эта взаимосвязь материализовалась в фигуре вашего коллеги по "антисионистскому цеху" кандидата философских наук Евгения Семеновича Евсеева. Он представитель официального антисионистского истеблишмента, он же на наших глазах вступает на общественное поприще в качестве (научной) опоры борьбы с русофобией и сионизмом, как его понимает новейший русский национализм.

Теперь я могу объяснить, в чем вижу разницу между Дадияни и Евсеевым с Романенко. У Дадияни и других "антисионистов с человеческим лицом" сионисты — агенты империализма, а Евсеев с Романенко оперируют другим понятием сионизма, у них сионизм — не "реакционное националистическое движение еврейской буржуазии", у них "сионизм" тождествен заговору евреев с целью достичь мирового господства. Они пользуются понятием сионизма, существующем в современном мифотворческом национализме.

Получается, что и там, и здесь — ментальность "заговора". И там, и здесь евреи (космополиты, сионисты) — враги. Но в одном случае евреи — агенты главного врага, а в другом случае — сам главный враг. Мне кажется, что с точки зрения мировоззрения, не сформированного принципами тотальности и дуализма и не окрашенного мифическими чертами — скажем, с точки зрения либерально-демократического мировоззрения — эта разница не столь существенна.

Итак, к чему мы пришли? Антисемитизм, как компонент официальной идеологии, обеспечивающий конкретного и "достоверного" врага, был в свое время функционален и обладал интегрирующей силой в рамках советского общества (тем более, что главный враг тоже был нагляден: "американский империализм" ассоциировался с весьма понятной для старшего поколения угрозой войны). По мере распада официальной идеологии функциональное становилось дисфункциональным, интегрирующее — дезинтегрирующим. В самом деле, идеолог русского неоязычества Валерий Емельянов еще в конце 70-х годов обвинил в "сионизме" самого Брежнева, а сейчас сторонники Васильева обвиняют в сговоре с мировым сионизмом не только всю советскую прессу, но и адресата нашего "Письма" члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева. Когда в обращениях "Памяти" говорится, что буржуазные демократии попались в сети сионистского заговора — это еще куда ни шло, но агенты сионизма в Политбюро — это уже свидетельство того, что распавшаяся идея стала дисфункциональной. Ведь до сих пор в Политбюро бывали только агенты империалистических спецслужб.

Вот так — опять же в самом общем виде — я представляю себе массовую альтернативную идеологию и ее взаимодействие с официальной. Спасибо за внимание.

Прим. ред.: Дискуссия, где выступал С. Лезов, проходила в Московском Доме ученых и была первым в своем роде официальным и открытым обсуждением проблем антисюицизма и антисемитизма в СССР. Она явилась следствием открытого письма, направленного в ЦК КПСС и ряд советских газет группой русских интеллигентов во главе с С. Лезовым и С. Тищенко. В дискуссии, организованной по предложению инструктора ЦК, участвовали авторы письма, активисты движения за еврейскую культуру М. Членов, И. Крупник и др., советские эксперты по "антисюицизму": В. Носенко, Л. Дадзиани, А. Шумихин и т. д. Материалы дискуссии будут полностью опубликованы в "Бюллетене Центра исследований и документации восточно-европейского еврейства" под ред. М. Цигельман-Дымерской, которая любезно предоставила их также нашему журналу.

Борис Кушнер

Открытое письмо академику Игорю Шафаревичу

Уважаемый Игорь Ростиславович!

Недавно я прочел вашу работу "Русофобия", которая — по видимому, не без вашего ведома — ходит по рукам. Настоящее письмо не ставит себе целью в чем-то переубедить вас, и, тем более, повлиять на ваши, очевидно, вполне сложившиеся убеждения. Ваша нелюбовь, даже ненависть к моему народу (а значит и ко мне) является простым биологическим фактом. Факт этот вызывает у меня сожаление, я должен считаться с ним, но никакого ущерба моему национальному самоощущению и чувству собственного достоинства он не причиняет. Я мог бы совершенно спокойно умереть, и не вступив с вами в дискуссию. Поверьте, у меня есть и другие, более духовные занятия. И если я все же отвечаю вам, то просто для того, чтобы вы не приняли со свойственной вам свободой интерпретации молчание за знак согласия.

1. Мне хотелось бы сразу отделить (насколько это возможно) ту часть вашего сочинения, которая касается собственно проблем русского национального самосознания. Я не ощущаю никакого своего морального права и не имею никакого желания вмешиваться даже в простое обсуждение этих проблем, относя их целиком и полностью к компетенции русского человека, хочу только подчеркнуть мое глубокое уважение к духовной красоте и мощи русского народа, мою веру в то, что он найдет свой самобытный путь, достойный его высокой души и его места в мировой культуре. И я вполне сочувствовал бы вашей тревоге, вашей любви

к вашей земле и вашему народу, если бы изначально высокие чувства эти не были омрачены столь же изначально низкой ненавистью к другим человеческим существам.

2. Перейду теперь к отрицательной, предостерегающей части вашего труда. В ней можно обнаружить две компоненты: роковая роль евреев в судьбе России (с проекцией на возможное будущее других народов) и критический (точнее клеветнический) очерк национальных традиций (а, следовательно, и национального характера) евреев как таковых. Что же, в известном недавнем периоде русской истории действительно можно наблюдать непропорциональное (как в количественном, так и в эмоциональном отношении) участие евреев. Обстоятельство это представляется мне трагическим для моего народа в такой же степени, как и для вашего. Не отрекаясь от кровного своего родства с этими людьми, хочу все-таки подчеркнуть, что они ушли из нашего национального русла, для которого Жаботинский, очевидно, гораздо характернее, нежели, скажем, Троцкий. Вопреки вашему мнению (подкрепленному несколькими специально выбранными из моря литературы цитатами) еврейское национальное самосознание* вовсе не сосредоточено на русофобии, да и на России вообще. И дело здесь не в высокомерии и презрении, столь болезненно переживаемых вами. Просто, поверьте, у нас есть свои заботы, свои чувства, свои идеалы и свой мир, как и у многих других народов, для которых Россия не составляет средоточия их духовной жизни. Не является ли, Игорь Ростиславович, призрак русофобии, обступивший вас со всех сторон, проявлением чувства вашей национальной исключительности? Конечно, Россия занимает значительное место в наших мыслях. Так уж сложилось, что заметная часть нашего народа прошла длинный отрезок своего исторического пути рядом с вашим народом, нам пришлось многое пережить вместе и многое пережить друг от друга. Да ведь и русское самосознание в ряде своих проявлений не балует евреев отсутствием внимания, свидетельством чему является, в частности, и ваше фундаментальное сочинение. Я думаю, что сейчас наступает пора нашего национального расставания, и затягивается оно не только по нашей вине. И абсолютное большинство моих соплеменников — я уверен в этом — расстанется с Россией с чувством печали и благодарнос-

* Я предпочитаю этот термин употребляемому вами словосочетанию "Еврейское националистическое движение".

ти, с искренним желанием счастья вашему многострадальному народу. Я убежден в этом, ибо человеческая совесть не позволяет рисовать портрет народа с выродков и маньяков.

Я считаю своим долгом прямо сказать, что мне стыдно и больно за многих моих соплеменников, за их глупость, бестактность и, наконец, за вольные и невольные их злодеяния. Я ощущаю свою моральную ответственность, свою моральную вину. А теперь, положа руку на сердце, вполне ли спокойна ваша совесть, Игорь Ростиславович? Подведение счетов между народами – вредное, опасное и глупое занятие, и я не хочу сбиваться на ваше словоупотребление вроде “что **они** сделали **нам**”. Слишком уж одушевленные местоимения “**мы**”, “**они**”, слишком многие добрые, хорошие, теплые люди, друзья видятся мне за ними. Любое человеческое существо персонально и не может быть обвинено в терминах совокупности, к которой оно в силу тех или иных обстоятельств отнесено. (Согласимся здесь с Расселом.) Чувство стыда, ответственности, вины, о котором я только что говорил, может возникнуть только в результате добровольного, внутренне необходимого движения души. И я не обвиняю, я просто по-человечески спрашиваю: вполне ли спокойно ваше сердце, ваша совесть, Игорь Ростиславович, когда вы думаете о живших в России евреях? Ну хотя бы в той части совместной нашей истории, которая предшествует известным событиям и в которой единственная вина наша состояла в том, что мы породили религиозную концепцию, тысячелетие принятия которой вы собираетесь вскоре отмечать. Забегая вперед, хочу спросить: как вы могли принять Бога от **такого** народа, Игорь Ростиславович? А ведь Перун, кстати сказать, был бы самобытнее...

Вообще, история отличается от математики прежде всего тем, что историк прикасается к живой человеческой плоти, к ее нервным, болевым узлам, и умение ощущать страдание другого существа, как свое собственное, абсолютно необходимо для таких занятий. Полное отсутствие этой первоначальной способности – вот что поражает более всего в вашем сочинении и что выводит его за пределы научного исторического исследования, несмотря на всю внешнюю обстоятельность. Для иллюстрации этой мысли достаточно прочесть ваши игривые упоминания о погромах. До чего же злопамятные люди эти евреи! Подумать только – ведь они затаили недобрые чувства после известных пасхальных увеселений в Кишиневе! А Мартов (Цедербаум)! Надо же – с трех лет не мо-

жет забыть погрома. И это при том, что казаки разогнали толпу до его дома. (Интересно, что бы он затаил, если бы вместо **до** здесь стояло **после**?) А Бялик — вместо прочувствованных сонетов пишет полные горечи послепогромные стихи. Вот если бы он написал в этот момент “Я помню чудное мгновенье”, вот тогда бы И. Р. Шафаревич был бы доволен. И, кстати, не вспомнить ли нам антипольские стихи Пушкина, тоже послепогромные, с той разницей, что погром был учинен в доме Мицкевича? Позвольте сообщить вам, уважаемый Игорь Ростиславович, что мы так же ощущаем боль, как и вы, так же любим своих детей и нам так же тяжело видеть, как им забивают гвозди в глазницы, как это было бы тяжело (не дай Бог!) видеть вам по отношению к вашим детям. Не подумайте только, что я пишу все это, чтобы пробудить в вас сочувствие или даже совесть. Мы готовы отозваться, как и все люди, на любую человеческую симпатию, но мы не домогаемся таковой. Я просто сообщаю вам некий естественно-исторический факт, видимо не вполне сознаваемый вами, возможно, для цитирования в дальнейших ваших трудах. Извините, но подобные вещи почему-то застревают и в личной, и в национальной памяти. Боюсь показаться вам назойливым, но мы не забудем наших матерей и отцов, миллионами отправленных в газовые камеры совсем недавно на глазах цивилизованного мира. Вполне возможно, впрочем, что вы и эти действия считаете естественной реакцией немецкого населения на... здесь надо вставить подходящую цитату из Геббельса и К, что я предоставляю вам, как мастеру жанра (вполне вероятно, что цитаты эти уже покоятся в вашей картотеке).

3. Изумление вызывает и ваше опереточное легкомыслие в трактовке истории и традиций еврейского народа. Они несколько сложнее и устроены, как это ни прискорбно, немножко не так, как вы излагаете. Прежде всего вкратце о ваших манипуляциях со святым писанием. По-видимому, трудно отрицать, что Библия (в том числе и Ветхий завет*, являющийся священной книгой еврейского народа) составляет одну из самых существенных основ европейской цивилизации. Книга эта сложна, как сама жизнь, и так же, как и жизнь, оставляет каждому духовному существу, обращающемуся к ней, свободу выбора. По образу и подобию Бога сотворен человек — сказали когда-то евреи. Каждый выбирает сам. Можно сосредоточиться, скажем, на:

* Здесь и ниже я пользуюсь христианской терминологией

Почитай отца твоего и мать твою...
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на Ближнего
твоего.
(Исход. 20. 12—16)

Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по
большинству от правды.
(Исход. 23. 2)

Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего:
Но люби ближнего твоего, как самого себя. Я господь.
Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец
ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле
египетской. Я господь, Бог ваш.
(Левит 19. 18, 23)

Когда будешь снимать плоды в винограднике твоём,
не собирай остатков за собою; пусть остается пришельцу, сироте
и вдове.
(Второзаконие 24.21)

Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина
своего. Пусть он у тебя живет, среди вас на месте, которое он изберет в
каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй его.
(Второзаконие 23.15—16)

Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет
из земли далекой ради имени твоего, — ибо и они услышат о твоём имени
великом и о твоей руке сильной и о твоей мышце простертой, — и придет
он и помолится у храма сего:
Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать
к тебе иноплеменник...
(3-я царств, 8. 41—43)

И он будет судить народы и обличит многие племена;
и перекуют мечи свои на орала, и колья свои на серпы;
не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться
воевать.
(Исайя 2.4)

Можно было бы продолжать без конца. Трудно удержаться и
не воскликнуть вместе с вами (но с противоположной интона-
цией): “У кого еще можно встретить подобные чувства?!” Такие

ценности мы внушаем нашим детям и предлагаем всем, кто хочет разделить их с нами. А вот ваши любимые места:

Когда же введет тебя господь, Бог твой, в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезьями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не сажал...

(Второзаконие 6, 10–11)

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их — служить тебе; ...

Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе — погибнут;

и такие народы совершенно истребятся.

(Исайя 60 10–12)

И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями.

(Исайя 61.5)

И будут цари питателями твоими; и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих...

(Исайя 49, 23)

О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда.

(3-я кн. Ездры 6.56)

И если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?!

(3 кн. Ездры 6.59)

Что же, возможен и ваш выбор. Можно упиваться подобными вырванными из теологического, психологического, исторического и художественного контекста местами, но сколько мрака надо иметь в душе для этого! Привет вам от Ем. Ярославского (Губельмана), Игорь Ростиславович! Наш выбор совсем другой. И детей наших мы учили не по вашим рецептам. Что же касается трагических, мрачных, загадочных аспектов Библии, то этот воп-

** Кстати, не это ли вопрошаете вы применительно к своему народу?*

рос сложен и много обсуждался. Ему можно было бы посвятить большое самостоятельное исследование. Мне кажется, что мы сталкиваемся здесь с тайной, восходящей к ст. 4 гл. 1 книги Бытия: “И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы”. Но тьму оставил. Зачем? Почему? Любое приближение к постижению этой тайны может основываться только на любви и откровении, а не на произвольном манипулировании цитатами, составляющем основу вашего творческого метода.

И еще одно обстоятельство, не позволяющее свести концы с концами в вашем изложении. Ведь вы цитируете, если я не ошибаюсь, синодальный перевод, священную книгу в а ш е й р е л и г и и; и уже тысячу лет приведенные вами тексты составляют неотъемлемую часть также в а ш е г о религиозного кодекса (не буду следовать вашему примеру и говорить о результатах воспитания ваших детей на этой основе, ибо не могу представить себе воспитателя, достойного этого названия, одаренного мрачной вашей фантазией).

Отмечу еще и фактическую неточность. неожиданную для такого формально скрупулезного исследователя, каковым вы, несомненно, являетесь. 3-я книга Ездры не входит в еврейский (а также и в православный) канон. Этот апокриф, созданный приблизительно в конце 1-го века н. э., дошел до нас только в переводах (в латинских и греческих рукописях подразумеваемый автором Мессия прямо именуется Иисусом Христом). 3-я книга Ездры всегда привлекала внимание именно христиан: о ней высоко отзывались отцы церкви, а в прошлом веке и митр. Филарет Московский. Ваше упоминание этой книги в контексте воспитания еврейских детей совсем уж смехотворно. Как видите, ненависть — плохой советчик, Игорь Ростиславович!

Той же дремучей недобросовестностью, исключаящей возможность серьезного обсуждения, отмечено ваше упоминание о Талмуде. Здесь вы даже изменяете обычной своей академической манере и не приводите точных цитат. Остаюсь при сильном подозрении, что это связано с уровнем владения предметом. Для того, чтобы внести свою заметную лепту в многовековую клевету на Талмуд, надо все-таки потрудиться побольше. Одно-двух терминов маловато. Впрочем, если вы не удовлетворены сказанным, можно подумать об организации вашей дискуссии со знатоками Талмуда по столь милым вашему сердцу средневековым образцам. Что же касается волнующей проблемы осквернения могил, (ев-

реями, конечно), то не худо было бы вам, в соответствии со взятой на себя миссией духовного наставника, обратиться с пастырским словом к некоторым с в о и м соотечественникам, следы вандализма которых вы без труда обнаружите на еврейских кладбищах в Ленинграде и Орше. Читаешь ваши пассажи, и кажется, вот-вот появятся и пресловутые христианские младенцы; похоже, только какая-то загадочная, остаточная стыдливость удерживает вас от соблазна. Ваше маловразумительное, но отменно злобное упоминание о деле Бейлиса подкрепляет это ощущение.

Все тем же хорошо знакомым своеобразием проникнута и ваша трактовка праздника Пурим. Представьте себе, Игорь Ростиславович, что содержанием Пурима (одного из древнейших в нашей, да и не только в нашей истории, праздников) является радость по поводу избавления, спасения народа. Ведь и 9 мая мы тоже радуемся вовсе не гибели миллионов немцев (в том числе женщин и детей) и разрушению их домов. В истории — увы — часто происходят горькие вещи и в наших праздниках (да и не только в наших) всегда слышна соответствующая печальная нота. Такую же глубину имеет и ваше внешнее остроумное, но вполне несуразное для любого человека с историческим и просто моральным чутьем упоминание о варфоломеевской ночи. И почему бы вам, кстати, не вспомнить здесь о многочисленных праздничных аутодафе и о праздновании пасхи христовой в Варшаве, иллюминированной горящим гетто? Что же касается цифры 75000, которой вы потрясаете, то не могу удержаться и не отметить (в очередной раз) ваш, по-видимому, нарочитый примитивизм в обращении с Библией. Приводимые в этом документе цифры все-таки не следует воспринимать как сводки госкомстата. Надо понимать своеобразный, преувеличенный характер восточного, да и любого летописного мышления. Без такого понимания обращение к древним документам просто опасно, ибо умножает невежество и предрассудки, что — увы — ясно наблюдается в вашем случае. Посмотрите, например, на завоевание евреями Ханаана. Да ведь там камня на камне не должно было бы остаться, а вместе с тем, в дальнейшем библейском повествовании, мы все время встречаемся с сильными и процветающими ханаанскими племенами. Интересно, что следы этого образного восточного мышления можно встретить в виде гебраизмов в языках народов, воспринявших Библию. Когда, например, баснописец говорит: "Вороне где-то бог послал кусочек сыра", вряд ли кто-либо представляет себе божьего анге-

ла с мечом в одной руке и куском сыра в другой. Это элементарное наблюдение надо бы иметь в виду, когда вы открываете святое писание, Игорь Ростиславович. И еще несколько слов о терминологических спекуляциях. Я имею в виду набившие оскомину переживания, вращающиеся вокруг словосочетания "Избранный народ". Термин этот, может быть, не вполне удачен, ибо молчаливо предполагает не всегда встречающуюся способность восприятия терминологических конструкций именно как цельных образований, скажем, обращение "уважаемый товарищ" не является простой суммой составляющих его слов. Товарищ может быть отнюдь не уважаемым, да и вообще не быть товарищем. Прилагательное "избранный", вырванное из своей синтаксической и сематической связи, одним дает повод думать о каких-то подразумеваемых привилегиях, а другим (обычно недобросовестным исследователям) долго и со вкусом рассуждать о национальном высокомерии евреев, их презрении к другим народам и т. д., и т. д. В действительности же основное содержание словосочетания "избранный народ" состоит в простой констатации того факта, что скрижали с заповедями были вручены на Синае еврейскому народу и ему же назначено было стать тем проводником, через который высокие моральные иудео-христианские принципы достигли других народов. О том, во что обошлась эта "привилегия" моему народу, может судить всякий, кто хоть немного знаком с его историей. Да, мы гордимся нашей исторической миссией. Но это — гордость, а не гордыня, и в гордости этой не больше высокомерия, чем в чувствах русского человека, думающего о том, что Достоевский был русским писателем. Вы считаете, что мы были упрямы и высокомерны, поддерживая в течение 2 тысяч лет свое национальное существование в невероятных, нечеловеческих условиях. А я вижу в этом прекрасную, гордую верность своим отцам, своей вере, своему собственному (самобытному!) пути. Не этого ли вы хотите для своего народа?! И вот еще один пример нашего национального подвига, которым я горжусь и буду гордиться: мы возродили наш древний язык, молчавший в течение почти двух тысячелетий. Сейчас на этом языке пишут научные работы, объясняются в любви, ссорятся, негодуют. Вся гамма человеческих чувств вернулась в иссохшее лоно иврита. Скажите, кто еще сделал такое? В связи с высокомерием, злобностью и т. д., которые вы так неистово нам инкриминируете, хочу напомнить еще раз прекрасные слова Моисея: "Люби ближнего твоего, как самого себя", состав-

ляющие один из столпов нашей религии. Согласно нашей традиции, все люди, подчеркиваю — в с е , сотворены по образу и подобию Божьему, все они — дети Божьи. Праведники всех народов имеют свою долю в грядущем мире — говорит наша традиция. (Талмуд, Синед. 105 А). И в этом отношении она идет даже дальше христианства — достаточно вспомнить Апостола Павла или католическую формулу "Extra ecclesiam nulla salus".* Еврей не имеет никаких привилегий перед иноверцем с точки зрения спасения. Наоборот, в отличие от последнего, обязанного соблюдать только 7 заповедей, предписанных сынам Ноя, еврей должен исполнять все 613 заповедей Торы. Клеветой является и легенда о религиозной замкнутости евреев. Всякий, принявший иудаизм и согласившийся выполнять его требования, причисляется к "детям Авраама, отца нашего", к "сынам Израиля", словом — к "избранному народу". Например, неевреем был один из знаменитых наших законоучителей Р. Акива Бен Иосиф. Действительность не похожа на ваш пасквиль, Игорь Ростиславович! И здесь мне еще раз хочется спросить: при всей ненавидящей убежденности вашей как могли вы принять Бога от т а к о г о народа?!

4. Теперь вкратце о русофобии. Восхищение вызывает непринужденность, с которой вы извлекаете эту угрозу из дискуссии с несколькими, видимо, раздражающими вас авторами. Некоторые из приводимых вами высказываний в адрес русского народа действительно возмутительны, но, вместе с тем, трудно вообразить, как могут все эти слова, не имеющие даже широкого хождения, угрожать духовному здоровью и самому существованию столь великого народа. Думаю, что народ этот решит свои проблемы, просто не заметив всей воображаемой опасности и опираясь не на ненависть, а на тот свет, что живет в человеческой душе.

Что же касается настоящей фобии, то она действительно присутствует в вашей работе. И, как вы сами удачно отметили, в виде смеси ненависти и страха. Речь идет о юдофобии (можете выразиться резче, я не обижусь) и, если о ненависти мы уже говорили, то компонента страха представляется мне загадочной. Создается ощущение, что читаешь сочинение представителя маленького народа. При соотношении 40:1 (или даже более того) говорить о каких-то евреях просто стыдно. Какой комплекс неполноценности надо при этом лелеять в себе, каким неверием в собственный

*"Вне церкви нет спасения" (ред.)

народ обладать! И заклинания, и причитания ваши, Игорь Ростиславович, простите, выглядят не по-мужски. Все пространства открыты для конкуренции, и особых преимуществ для тех евреев, которые пожелают (или которым придется) жить вместе с вами, мягко говоря, не создается. Неужели указанное выше соотношение эффективно только для погромов? Но, говоря серьезно, я глубоко убежден, что, помимо всего этого, русский национальный дух не уступает по глубине никакому другому духу — и зловредному еврейскому духу тоже.

Болезненной представляется и ваша склонность считать антирусскими манифестами те или иные литературные произведения. Как говорил Гиллель, не делай другому того, чего ты не хотел бы себе (кстати, это тоже из Талмуда). Посмотрите, например, на сочинения Достоевского. Каким презрением к полякам, инородцам проникнуты они! А "Тарас Бульба", с его апологией национального высокомерия, ненависти, поэтизацией кровавого разгула! Воистину, чему учат наших детей! И, вместе с тем, все (или почти все) понимают, что творчество любого крупного мастера не сводится к подобным черным сторонам.

5. Что же сказать на прощание? Вы подчеркиваете гражданское мужество, открытость своей позиции. Вы — трагичны, вы завершаете свой труд упоминанием о смерти ("Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать"). Возможно, эта мысль связана с вашими личными обстоятельствами. Не знаю, но похоже (простите, если я ошибаюсь) вы имеете в виду мировых сионистов, которые изведут вас "атомной бомбой антисемитизма" (ваша терминология!) или даже обыкновенной водородной бомбой. Не беспокойтесь. Худшего, скорее всего, не случится. Во всяком случае, один образец бескомпромиссного "гражданского мужества" много лет процветал на ваших глазах*. Возможно, кто-то из ваших друзей, руководствуясь неодолимым движением порядочности (вы скажете — наущением сионистов) не подаст вам руку. Не беда. Живите долго и счастливо, Игорь Ростиславович. Быть может, Бог вернется к вам и вложит в ваши уста слова, достойные вашего великого народа и вашего собственного ума и таланта.

11 мая 1988 г.

* Имеется в виду ныне покойный академик И. М. Виноградов, бывший в течение многих лет директором математического института им. Стеклова АН СССР и прославившийся своим бескомпромиссным антисемитизмом. (Прим. ред.)

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Феномену антисемитизма посвящена огромная литература. Непрофессионал может решить, что писать на эту тему либо по невежеству, либо по амбициозности (то есть будучи убежден, что у него есть некоторые нетривиальные методологические подходы к анализу этой вековой темы), либо по той и другой причине вместе. Мне, как непрофессионалу, хочется верить, что мои заметки относятся по крайней мере к последнему случаю.

В этих заметках я хотел обратить внимание всего лишь на две группы проблем: причины антисемитизма и пути решения "еврейского вопроса".

I. Причины антисемитизма

1. О многообразии причин антисемитизма и групп населения, поддерживающих его. Мне кажется, что социальное явление способно играть заметную роль на протяжении длительных периодов времени, измеряемых веками, если оно имеет гетерогенные основания, то есть находит поддержку у самых разных групп населения и порождено разнородными причинами; эти причины могут причудливо переплетаться в каждой отдельной группе.

Действительно, нетрудно за-

Арон Каценеленбойген

АНТИСЕМИТИЗМ
И
ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

метить, что в разные времена антисемитские настроения высказывают самые разные группы населения в каждой стране и иногда по совершенно разным мотивам. Антисемитскими настроениями бывали заражены и крестьяне, и городские жители; образованные и необразованные группы населения; интеллектуалы и "люди земли"; бедные люди, средний класс и богатые люди; преследуемые и преследующие группы населения; рабы и свободные граждане; люмпены и собственники и т. д. и т. п.

Антисемитские настроения могли быть порождены самыми различными причинами. Среди этих причин прежде всего можно назвать религиозные мотивы (в странах христианского мира это были обвинения в распятии Христа, в ритуальных убийствах младенцев и т. п.) и страх неконкурентоспособности перед лицом еврейской активности, усиленный взаимопомощью евреев друг другу и их способностью вторгаться в самые различные области, начиная с бизнеса и кончая политической*.

Такого рода страхи подогревались подчас весьма рациональными причинами. Прежде всего считалось опасным, что евреи оккупируют определенную область, особенно если эта область важна для благополучия страны. Скажем, если много евреев становится пастухами, врачами, торговцами и т. п., то возникает опасение, что в случае их желания покинуть страну обитания и возвратиться в обетованную землю, они могут подорвать нормальную жизнь данной страны, лишив ее нужных кадров.

Здесь я хотел бы сослаться на замечательную работу Зеева Жаботинского "Четыре сына". Жаботинский показывает, что в основе антисемитизма лежит конфликтная ситуация, связанная с тем, что евреи, поселяясь на территориях чужих народов, готовы поначалу выполнять важные для местного населения работы, которые по тем или иным причинам (в частности, незнания, как эффективно выполнять эти работы, особенно если они сложны)

* Мне довелось знать весьма приближенного к Хрущеву сотрудника аппарата ЦК. Как-то он рассказал мне о разговоре, который у него был с одним из помощников Хрущева. Мой знакомый, человек весьма широких взглядов, убеждал помощника Хрущева, что нужно взять на работу в аппарат ЦК нескольких толковых евреев, мотивируя это их нужностью для дела. На это помощник Хрущева ответил: "Ты что, сдурил? Если мы возьмем хотя бы одного еврея, то он немедленно потащит своих, устроит здесь синагогу и нас с тобой выпрет".

считаются “мерзостными”. Постепенно к этим работам привыкает и местное население и в один прекрасный день обнаруживает, что евреи слишком захватили эту важную для них область. Тогда местные власти начинают искать способы избавиться от еврейского засилья. Именно это произошло с евреями в Египте, где они согласились стать пастухами, “ибо мерзость для египтян всякий пастух овец” (Бытие, 46:34); так было и в средние века в Европе, где евреи становились торговцами и ростовщиками.

Рассмотренные мотивы антисемитизма могли быть порождены как прямым соприкосновением с евреями, что особенно характерно для так называемого бытового антисемитизма, так и результатом ходячих представлений о том, что несет еврейское племя другим народам (особенно если это племя селилось на территории данного народа, хотя и в изоляции от него). К примеру, в дореволюционной России бытовой антисемитизм был особенно распространен в западных областях империи, в “черте оседлости”, где местное население тесно соприкасалось с евреями. Там зависть переплеталась с религиозными предрассудками и легендами о евреях, как о дьяволах. Что же касается основных масс русского населения, то они тогда мало соприкасались с евреями и причины их антисемитских настроений были преимущественно результатом религиозных мотивов, как-то распятие Христа или ритуальные убийства, а также распространенных мнений о евреях, как о дьявольском племени, могущем принести данному народу неисчислимы бедствия. Лишь после революции, когда евреи вышли из черты оседлости и поселились в городах, бытовой антисемитизм стал господствующим и среди широких масс русского населения.

Многообразие групп населения, зараженных антисемитизмом, равно как и многообразие причин, порождающих антисемитизм, наблюдаются на протяжении всей истории в самых разных странах. Конечно, в зависимости от особенностей культуры данной страны и переживаемой ею ситуации меняются масштабы охвата антисемитизмом разных групп населения, пропорции между мотивами (в пределе сила определенного мотива может быть и нулевая — так, в нехристианских странах не будет мотива распятия Христа) и, что особенно существенно, — сила антисемитских настроений.

Все сказанное показывает, что проблема снятия антисемитизма

является весьма и весьма трудной. Можно ли вообще рассчитывать на такое снятие?

2. Может ли исчезнуть антисемитизм? В науке известно, что перед тем, как решать проблему, пытаются вначале выяснить, имеет ли она вообще решение. Для науки XVII–XVIII веков, добившейся невиданных ранее результатов в самых различных областях знания, была характерна вера в возможность решения любой проблемы, начиная с создания вечного двигателя и кончая формированием утопических социальных систем, где все люди будут счастливы навеки. В XIX столетии точные науки трезвеют и начинают осознавать, что во многих случаях решения невозможны. В меньшей мере повезло социальным наукам. Мне известно лишь одно строгое доказательство невозможности решения некоторой социальной проблемы; оно было получено К. Эрроу во второй половине XX века.

Я не берусь строго доказать, существует ли возможность уничтожения антисемитизма. Но на мой взгляд, такая возможность вряд ли существует. Определенные специфические мотивы антисемитизма (типа заведомо ложных ритуальных наветов), конечно, могут быть сняты; ответственность за распятие Христа может быть во многом преодолена. Может быть ослаблена специфическая зависть к евреям, если удастся свести ее к общелюдской зависти. Против аргумента, что евреи могут захватить ключевые позиции и угрожать в случае своего ухода развалом страны, можно возразить, что число евреев в каждой стране не так уж велико, чтобы они действительно могли захватить критическую массу ключевых позиций. Более того, можно думать, что конкурирование с евреями весьма полезно для данной страны, так как заставляет ее коренное население активизироваться. Напротив, если ограничить допуск евреев в определенную область деятельности, возникает сильная угроза, что в эту область хлынут малоквалифицированные местные жители, умеющие угождать начальству в борьбе с "еврейским засильем". Я понимаю, что все эти доводы весьма спорны, так как в социально-экономической области крайне трудно определить, при каких условиях выгоднее "протекционизм", а при каких — "свобода торговли".

Мне, однако, кажется, что есть такие специфические черты еврейства (широко используемые, кстати, для рационального обоснования антисемитизма), которые вообще не могут быть

преодолены. Один такой мотив, особенно распространенный среди интеллектуалов, как мне представляется, играет специфическую роль и во многом предопределяет неразрешимость проблемы антисемитизма.

3. Интеллектуалы, "программирующая сфера" и антисемитизм.

Итак, прежде всего по поводу интеллектуалов. Интеллектуалы, как никакая другая группа, не только осознают, но могут концептуально выразить требования общественного развития в сложившейся ситуации. Особая роль интеллектуалов заключается в том, что их деятельность и нтегрирует общество, объединяет власть и массы. Это, конечно, не исключает того, что мнения других групп, сформированные под влиянием их собственной жизни, тоже играют огромную роль в жизни общества и могут, в свою очередь, влиять на интеллектуалов, давая им "эмпирический материал". Но именно интеллектуалы прежде всего формируют те идеи, которые используются как власть имущими, так и массами.

Разумеется, антисемитские доводы интеллектуалов могут повторять доводы других групп населения. Но вместе с тем интеллектуалы способны выдвинуть и более изощренные аргументы, которые базируются на реальных фактах, отражают действительные стороны жизни и беспокойство по отношению к которым весьма и весьма трудно оспаривать. Это, прежде всего, такие аргументы, которые относятся к глубинным основам еврейского мировоззрения и потому в принципе не могут быть опровергнуты до тех пор, пока вообще сохраняется специфическая еврейская культура. Лишь принятие евреями мировоззрения (и, в особенности, религии) данного народа могло бы избавить их в этом случае от антисемитских преследований. Более того, со стороны определенной части интеллектуалов антисемитские доводы могут носить расовый характер, то есть исходить из генетических свойств евреев. В этом случае "окончательное решение" проблемы антисемитизма вообще лежит на пути истребления евреев или, в лучшем случае, их изгнания из данной страны.

Перед тем, как подробнее рассмотреть указанные проблемы, я хотел бы заметить, что во всяком обществе существуют такие сферы деятельности, проникновение в которые иноземцев с резко отличной системой ценностей представляется особенно опасным, так как в этом случае они могут повлиять на систему ценностей данной страны (или преобладающей этнической группы), откло-

нив ее развитие от органически присущего ей пути. Для конкретизации этого утверждения выделим в обществе "программирующую" и "исполнительную" сферы. К программирующей сфере отнесем всевозможные виды деятельности, которые связаны с формированием "генетического кода" данного общества и трансформированием, то есть преобразованием, этого кода в такие системы, которые на его основе формируют все многообразие общественных структур и механизм функционирования общества. Эти два начала, то есть формирование и трансформирование генетического кода, по видимому, связаны между собой и оказывают влияние друг на друга, составляя в целом программирующую сферу данного общества. К числу видов деятельности, которые лежат в основе формирования генетического кода, относится прежде всего деятельность в области культуры: идеологии, искусства и фундаментальных наук; деятельность в таких областях, как массовая информация, образование, политическое и хозяйственное руководство (в особенности на высших уровнях иерархии и в ключевых точках) и т. п., составляют (связанную с формирующей) систему трансформирования кода.

В исполнительную сферу должны быть включены все виды профессиональной (как физической, так и умственной) деятельности, которые преобразуют природу в соответствии с переданным им "генетическим кодом". В свою очередь, исполнительная сфера может оказывать влияние на "генетический код".

Так вот, именно вторжение евреев в эту "программирующую сферу" может представляться интеллектуалам "коренной" нации наиболее опасным для развития данного этноса. В этом смысле евреи диаспоры зачастую воспринимаются ими как вирусы, которые, как известно, не имеют своей белковой оболочки и, проникая в клетку, меняют ее генетический код.

Свидетельств такому отношению к евреям превеликое множество, и они принимают самые различные формы вплоть до совершенно уже нелепых измышлений, вроде пресловутых "Протоколов Сионских мудрецов". Весьма показательным с этой точки зрения распространившееся некоторое время назад в СССР письмо на имя Пленума ЦК КПСС, подписанное тремя довольно видными интеллигентами: В. Г. Брюсовой (доктор искусствоведения, член Союза художников СССР, лауреат Государственной премии РСФСР), Г. И. Литвиновой (доктор юридических наук), Т. А. По-

номаревой (член Союза писателей СССР). В этом письме, где разбираются причины "угнетения" в СССР русского народа, в частности говорится:

"Объективная научная статистика показывает, что подавляющая часть верхушки социальной пирамиды в настоящее время занята представителями еврейской национальности.

...Каждый из нас на собственном опыте убеждается, что противозаконное владение "мозговым центром" — вовсе не выдумка "сионских мудрецов", а самая что ни на есть реальная действительность, нас окружающая. Откровенный захват всех руководящих ключевых позиций в экономике, науке и культуре, "ускоренный" социальный рост давно стал, увы, явью.

...Чем же одарил нас "интернациональный", а по существу "еврейский мозговой центр"? А вот чем — он нанес нам неисчислимый ущерб в развитии народного хозяйства, экономике, торговле, экологии, культуре. Мы вынуждены были считать все эти убытки и "просчеты", и размах их оказался слишком велик. На счету — разрушение сельского хозяйства, уничтожение "неперспективных деревень", антинародные проекты переброса северных рек, уничтожение Волги, под угрозой — Байкал. Эксперимент за экспериментом, каждый из которых отбрасывает нас назад, заставляя мажовой колесо мощной советской экономики вращаться вхолостую.

А народ трудится в поте лица, решая все новые и новые нерешаемые проблемы, которые засасывают в гибельную воронку наши финансы, трудовую энергию, создающие все новые кризисные ситуации, вроде алкоголизма и наркомании, серии катастроф и т. п.

Теперь потребовались новые героические усилия, чтобы вывести страну из кризисного состояния, расчистить путь прогрессу путем перестройки. Все это происходит потому, что "интернационалисты" не желают считаться с традициями жизни и быта народа, ни с самой землей, которая им вовсе не дорога (сколько лучших земель в поймах рек ушло безвозвратно под воду!), ни с самим человеком. Могли ли русские в Госплане додуматься до того, чтобы за счет продажи алкоголя обеспечивать выплату рабочим зарплаты? Нет, это — хорошо исторически знакомая тень шинкаря, обирающего и спаивающего народ.

А развал театра, засилье рок-музыки, трюкачества в живописи? А бегство во враждебные страны — США и Израиль и чуть ли не триумфальное возвращение назад!

Нет, пусть мы не будем "идушими впереди", пусть мы будем не столь скоропалительны в своих решениях, но мы не станем экспериментировать с самым главным, что есть у нас дорогого — нашей Родиной*.

Что же это за еврейская система ценностей, которая может проникнуть в "программирующую сферу" и которой так опасаются интеллектуалы?

* Цитировано по газете "Новое Русское Слово", 6 января 1988; см. также "22", № 57.

4. Сравнимость Человека и Бога в еврейской ментальности.

Ценности, присущие еврейской ментальности, связаны с представлениями евреев о с р а в н и м о с т и Человека с силами развития вселенной. Эта черта еврейства резко выступает в иудаизме*. Из Торы следует, что человек, в принципе, сравним с Богом как мастером вселенной. При этом Тора толкует это соотношение расширительно, то есть не только в плане отношения еврея к Богу, но также и его отношения к окружающей природе, в том числе и к земным владыкам.

В принципе, возможны, по меньшей мере, еще две иные системы — основанная на признании п о д ч и н е н н о с т и Человека силам, им управляющим (будет ли то Бог, земной владыка или тот и другой одновременно), и основанная на признании п р е - в о с х о д с т в а человека над всеми этими силами. Первой системе ценностей соответствует большинство реальных религий и идеологий; мне вообще неизвестны другие религии, которые бы, подобно иудаизму, провозглашали, что Человек сравним с Богом. Системе ценностей, предполагающей превосходство человека над силами движения вселенной, соответствует в чистом виде коммунистическая идеология. Но ее конкретное воплощение в той или иной стране всегда и неизбежно сопряжено с введением авторитарных режимов, а это влечет за собой угрозу весьма быстро перерастания в свою противоположность — в идеологию, направленную на п о д ч и н е н и е человека управляющим им силам, то есть идеологию, глубоко чуждую еврейству.

В подтверждение этих рассуждений приведем соответствующие выдержки из Торы.

По представлению авторов Торы, Человек создан по образу и подобию Божьему (Бытие, 1:26). Сам же Бог представлен не как застывшая всемогущая и всезнающая сила, а как р а з в и - в а ю щ е е с я Начало. Человек, наделенный творческой мощью и свободой воли, усиливает мощь такого рода Бога. Именно через людей и прежде всего через людей Бог реализует дальнейшее развитие вселенной. Более того, роль людей может быть так велика, что с некоторыми из них, избранными, Бог даже становит-

** Можно думать, что эта религия, исповедуемая только еврейским племенем, вполне созвучна еврейской ментальности: вряд ли допустимо предполагать, что между ментальностью и выбранной религией нет никакой заметной корреляции.*

ся вровень, заключая с ними контракт. Согласно этому контракту Бог обязуется размножить народ, идущий от Авраама, а народ, в свою очередь, обязуется соблюдать завет, идущий от Бога (и формально выражающийся в том, что все мужчины этого народа должны быть обрезаны). Для того, чтобы такой контракт стал реальностью, достаточным условием является, с одной стороны, признание Богом своего несовершенства, а с другой, — величие Человека и, в принципе, его необходимость для Бога как независимой силы. Далее, реальность такого рода контракта заметно усиливается, если допускается сравнимость сторон по их мощи, как физической, так и интеллектуальной. И, действительно, авторы Торы приводят доказательства такого рода сравнимости. Физическая мощь Человека подтверждается легендой о поединке Якова с Богом (Бытие, 32:24—32), в ходе которого Бог не смог одолеть Якова, но лишь “повредил состав бедра” его. Сравнимость же интеллектуальной мощи Бога и Человека в общем виде утверждается авторами Торы при характеристике Адама. После того, как он вкусил плоды от дерева познания, Адам становится интеллектуально вровень с Богом. Его отличает от Бога лишь то, что он смертен.

“И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

И выспал его Господь Бог из сада Едемского...” (Бытие, 3:22—23).

Восприятие евреями себя как в некотором смысле равноправной Богу силы и идущее отсюда непочтение к кумирам и созданию идолов явным образом воплотились в Торе и в ее резко критическом отношении к земным владыкам. Все эти факты показывают, что евреи действительно характеризуются весьма специфической системой ценностей, отличной от систем, принятых другими народами. А это означает, что антисемитизм, апеллирующий к этим еврейским особенностям, не может быть преодолен в принципе. Как же в этих условиях может быть решена “еврейская проблема”?

II. Пути решения еврейской проблемы

1. Методологические замечания. Решение еврейской проблемы, то есть проблемы сохранения евреев как этнической общности, имеет множество аспектов. Я ограничусь рассмотрением этой про-

блемы в плане того, какая мера ценности приписывается ей заинтересованными лицами*. В принципе, эта мера ценности зависит от порядка, предпочитаемого человеком в следующем ряду: человечество—еврейский народ—еврейское государство—еврейская семья—еврей как индивид. Если расположить эти понятия в порядке их предпочтительности, то из простых комбинаторных соображений следует, что здесь может быть сто двадцать различных расположений**. Иными словами, в принципе возможно существование ста двадцати различных групп людей (разумеется, неодинаковых по численности), которые будут различаться с точки зрения того, какой порядок предпочтительности они избирают при решении еврейской проблемы. Так, к примеру, одна из групп на первый план поставит развитие еврея как индивида, потом еврейскую семью, затем еврейское государство, на четвертое место — еврейский народ, на пятое — человечество. Другая группа поставит на первый план человечество, на второй — еврейский народ, на третий — еврейское государство, затем еврейскую семью, потом еврея-индивида и т. д. и т. п. Все эти различия имеют весьма конкретное практическое значение и серьезно разделяют прежде всего само еврейское общественное мнение. Так, применительно к вопросу эмиграции евреев из СССР первая из упомянутых групп будет прежде интересоваться евреями, которые едут в Израиль, вплоть до того, что будет даже считать предосудительным думать о евреях, которые едут "мимо"; затем они будут думать о евреях диаспоры с точки зрения задачи убедить их не помогать евреям, не желающим ехать в Израиль; наконец, они будут решительно протестовать против отправления вызовов в Израиль лицам нееврейской национальности, которые хотят таким путем уехать из СССР. По тому же вопросу вторая группа будет прежде всего бороться за права человека, в рамках которых они будут видеть основной путь для решения вопроса о выезде евреев из СССР; затем они будут защищать право уехавшего из СССР еврея поселиться в той стране, которую он считает для себя приемлемой; уже в

* Я очень благодарен М. Берману, который обсуждал со мной свои методологические идеи изучения поведения человека на основе факториальной комбинаторики его приоритетов. Конечно, он не несет никакой ответственности за все те выводы, которые я делаю, прилагая его методологию к данной проблеме.

** Число комбинаций из пяти элементов, отличающихся порядком их следования, составляет $5! = 120$.

рамках этого права они будут всячески способствовать тому, чтобы желающие того евреи ехали в Израиль; лишь затем они будут помогать желающим еврейским семьям в обучении детей еврейской культуре; и наконец, последней на очереди у них будет задача помогать отдельному еврею сохранить свое еврейство (к примеру, передавая ему соответствующие книги).

Сказать, какая из этих ста двадцати групп права, весьма трудно. По-видимому, нужны все. Но, возможно, в каждой конкретной исторической ситуации преобладание каких-либо из этих групп более важно для развития многообразия этнических групп в человеческом роде.

2. Необходимость многообразия этнических групп в человечесстве. Тут сразу же нужно заметить, что я сторонник решения еврейской проблемы через сохранение еврейской этнической группы. Конечно, я понимаю, что не могу строго обосновать свою точку зрения. Однако противоположная точка зрения, которая требует перемешать все этнические группы и решать еврейскую проблему на путях ассимиляции евреев, мне не близка по общемировоззренческим соображениям. Можно полагать, что дифференциация является ведущим направлением развития; интеграция лишь сопровождает этот процесс. Конечно, крайне соблазнительно интегрировать на основе однообразия, унификации. Однако такого рода системы не могут развиваться и в конечном счете даже расти и выживать. Это утверждение, по меньшей мере, не противоречит всему прошлому развитию как неорганического, так и органического и социального миров. Можно полагать, что оно будет верно и для будущего, хотя бы потому, что, с одной стороны, ни одна система не может полностью предугадать будущее, а с другой, — она может наилучшим образом функционировать в этом неопределенном мире, лишь сохраняя многообразие и возможность менять пропорции между его составляющими частями в зависимости от складывающейся ситуации.

Сегодняшние достижения в области генетики делают все более обоснованным предложение некоторых ученых, что генетические особенности предрасполагают к определенной культуре. В этой связи представляет интерес книга Ламсдена и Вильсона "Гены, разум и культура", в которой авторы претендуют на "первую попытку проследить развитие от генов через сознание к куль-

туре". Их концепция "сконструирована таким образом, чтобы включить всякого рода культурные системы, начиная с протокультур макак и шимпанзе и кончая новой человеческой культурой, равно как и культуры, которые могут быть порождены лишь воображением"*.

Естественно, говоря о связи генов и культуры, надо быть предельно осторожным, так как здесь легко скатиться на всякого рода примитивные расовые теории. Речь идет в данном случае о том, что определенные гены, по-видимому, влияют на характер человека, который в свою очередь создает предрасположенность к определенной культуре, хотя и не детерминирует ее жестко. Далее, наличие всего развивающегося многообразия генетических структур и коррелированное с ними многообразие культур, неотдифференцированных по ценности, целесообразно рассматривать с эволюционной точки зрения как исходную единицу. С глобально эволюционной точки зрения сохранение и приумножение как многообразия генов, так и многообразия культур является принципиально важным для выживания этой "единицы".

Ратуя за многообразие в указанном смысле, я явным образом предполагаю, что каждый объект в этом многообразии уникален, то есть не может быть сравним с другим. Такое сравнение (по "важности") может быть сделано лишь в конкретной ситуации и с определенной (ограниченной) точки зрения. Любое такое сравнение имеет локальное, ограниченное во времени значение, и доминирующим все равно остается сохранение многообразия**. Я понимаю, что уже само по себе сохранение многообразия таит в себе угрозы, так как

* Применительно к генетическим началам еврейской культуры читатель найдет весьма интересные замечания в приложении ("The Formation and Transmission of Jewish "Differential" Characteristics from the Viewpoint of Contemporary Biology") к книге L. Poliakov *The History of Anti-Semitism*, New York: Schocken Books, 1965.

** Примером такого подхода к многообразию может быть западная плюралистическая политическая система. Каждая партия в ней вырабатывает свою уникальную программу развития страны в целом. Для того, чтобы в каждой конкретной ситуации выработать одну определенную программу развития страны, вступает в строй механизм отбора — избирательная система, парламент — с соответствующей оценкой важности каждой программы. Этот механизм отбора отнюдь не предлагает разрушения многообразия. Напротив, сохранение и развитие этого многообразия является основой основ западной политической системы.

стремление к сохранению данной этнической группы заставляет весьма настороженно относиться к другим этносам (хотя бы потому, что намерения другой группы с иной ценностной ориентацией не всегда ясны и т. п.). По-видимому, здесь обнаруживаются биологические корни настороженности одних этнических групп к другим.

Проблема сохранения многообразия весьма усложняется при наличии механизма отбора, поскольку отбор связан с акцентом на поиск лучшего в данной ситуации. Механизм отбора может быть таким жестким, что подчас может даже разрушить многообразие. Сохранение многообразия этнических групп и их реальное неравенство применительно к условиям определенной исторической ситуации может при наличии отбора порождать у отдельных народов стремление к подчеркиванию своей исключительности. Это особенно опасно для больших стран, шовинизм которых может стать угрозой существованию человечеству вообще. Поэтому я с пониманием отношусь к аргументам тех, кто говорит о целесообразности перемешивания народов. И все же, учитывая приведенные мною аргументы, я полагаю, что решение проблем человечества следует искать на пути сохранения многообразия этносов как биологических и социально-культурных групп* и приумножения этого многообразия на пути успешного интегрирования, а не унификации этнических групп.

Если посмотреть с этой точки зрения на решение еврейской проблемы, то, по-видимому, крайне важно нахождение путей сохранения еврейства. Признание необходимости множества этнических групп само по себе еще не предопределяет форму их организации. Каждая этническая группа в одном предельном случае может быть расселена на множестве территорий, в дру-

* Я как-то задумался над таким простым и вместе с тем парадоксальным фактом, что белые блондины, которым легче отражать солнце, живут в более северных районах, где как раз не хватает солнца, тогда как черное население, кожа которых вбирает солнечные лучи, живет в районах, где слишком много палящего солнца. Но оказывается, черная кожа как раз и приспособлена к палящему солнцу, так как она имеет специальные пигменты, которые предохраняют кожу от чрезмерных доз ультрафиолетовых лучей. Таких пигментов нет в белой коже. В случае увеличения дозы ультрафиолетового излучения, при прочих равных условиях, население с черной кожей (я не знаю как относительно желтой и красной) может оказаться более приспособленным к выживанию, чем население с белой кожей.

гом — сосредоточиться в одном регионе. В общем случае, разумеется, наличие центральной территории не исключает расселения по другим территориям. Это также не исключает дискуссии о “правильных” пропорциях между численностью группы на центральной территории и на периферии. В случае евреев это сводится к известной проблеме соотношения между еврейским государством и диаспорой. Эта проблема не имеет строгого решения, так как ни один из вариантов такого решения нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Я не знаю, каковы должны быть критические параметры государственной территории и численности населения на ней, чтобы роль диаспоры свелась бы к нулю. В принципе, однако, можно привести немало доводов в пользу того, что даже при наличии государственности нельзя “все яйца класть в одну корзинку”, то есть всякой этнической группе нужна своя диаспора.

2. Нужна ли диаспора? Я понимаю, что признание диаспоры может быть подвергнуто жесточайшей критике. Диаспора таит в себе большую угрозу уничтожения евреев, особенно в трудные для данной страны периоды, когда нужно найти козла отпущения, чтобы задобрить местное население. Такого рода задабривание в принципе может понадобиться в любых странах. В частности, попытка решения еврейской проблемы в СССР, где сразу после революции, казалось, были провозглашены самые благоприятные условия для сохранения еврейства, на наших глазах приближается к трагическому концу — после того, как на протяжении всей ее истории под самыми разными лозунгами: борьбы с троцкистами, космополитами, сионистами — фактически шло уничтожение евреев.

Далее, в диаспоре постоянно существует также угроза ассимиляции. И наконец, моя защита необходимости диаспоры может быть подвергнута критике и по чисто “личной линии” — она слишком ориентирована на оправдание моего собственного выбора жить в диаспоре.

И все же я рискну утверждать, что наличие диаспоры для ряда народов, особенно тех, государства которых имеют небольшую территорию и находятся в резко враждебном окружении, имеет серьезные преимущества*. В случае евреев эти преимущества

* Интересно в этой связи заметить роль диаспоры по отношению к русскому и украинскому населению. Россия — страна с огромной территорией и большой численностью населения; диаспора играет для нее относитель-

известны: финансовая помощь еврейскому государству со стороны евреев, живущих в богатых странах; влияние еврейского лобби в этих странах на формирование дружественной политики к еврейскому государству и т. д. и т. п. Уже Моммзен в своей "Истории Рима" отмечал, что сила Иудеи была связана с наличием у евреев, наряду с национальным государством, также крупнейших поселений в наиболее развитых тогда городах мира — Александрии и Риме.

Что же касается угрозы ассимиляции, то мне представляется, что эта проблема обычно рассматривается слишком односторонне. В действительности ассимиляционные процессы в одних группах еврейской диаспоры сопровождаются одновременным усилением этнического самосознания в других группах, особенно при наличии еврейского государства. Конечно, пропорции между этими группами будут разными в различных странах. Возможно, что в странах свободного мира, где евреи меньше боятся выразить свои этнические особенности, преобладают, скорее, те, кто отвергает ассимиляцию. К примеру, в США рост интереса еврейской молодежи к еврейству за последние тридцать лет вряд ли вызывает сомнения.

Я называю последнее явление "эффектом сдвоенной пирамиды" и вот почему. Обычно считается, что наиболее консервативно, религиозно и сохраняет культуру своего народа старшее поколение; дети уже меньше склонны к этому; а внуки, как правило, атеисты без роду и племени. Однако в диаспоре заметны и прямо противоположные тенденции: старшее поколение, вы-

но малую роль. Русские, выехавшие из России, довольно быстро ассимилируются, растворяются в культуре принявших их стран. Тем не менее и в этом случае наличие за рубежом русских хотя бы первого-второго поколений играет важную роль. Так, к примеру, появление после первой и второй мировых войн русских беженцев на Западе в большой мере способствовало сохранению выдающихся произведений русской литературы. Именно на Западе русскими людьми были опубликованы достаточно полные собрания сочинений А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама и других.

Совершенно иное положение с украинцами. Украина оказалась частью русской империи и стоит перед явной угрозой русификации. В этих условиях роль украинской диаспоры в сохранении украинской культуры огромна. И мы видим, как украинцы в диаспоре стараются сохранить свою культуру и во многом преуспели в этом (разумеется, при наличии одновременно с этим сильных ассимиляционных тенденций).

росшее под воздействием антисемитизма и ассимиляторских идей, старается забыть свое еврейское происхождение и найти решение проблемы в отказе от еврейства; следующее поколение частично убеждается, что такой уход от еврейства не дает решения проблемы, но еще сохраняет надежду приспособиться к среде; и только внуки окончательно осознают иллюзорность такого решения проблемы и заново обретают свое еврейство. Таким образом, пирамида еврейства в диаспоре оказывается перевернутой — ее вершина вновь обращается в сторону идентификации с еврейским началом.

В самом общем виде ситуация еврейства в диаспоре может относиться к одному из четырех типов, задаваемых мерой враждебности данной среды к евреям и численностью самих евреев. Весьма упрощенно мера враждебности может быть представлена бинарно: враждебно-невраждебно, а мера численности — через наличие или отсутствие “критической массы” для сохранения еврейства.

Если среда благоприятна для евреев, но их число мало (в том смысле, что нет критической массы для сохранения их идентичности), то они растворяются в окружающей среде. Такого рода ситуация имела место, к примеру, в Китае применительно к старым еврейским общинам. Если же среда враждебна к евреям, но они обладают достаточной критической массой, они могут сохранить себя как независимая этническая группа. Примерами тому может быть положение евреев в Испании во времена инквизиции, где множество евреев сохранилось в обличье маранов; сохранение евреев в России. Примером сохранения еврейства при наличии как благоприятных условий, так и критической массы может служить еврейство Англии, США, некоторых латиноамериканских стран. Однако с исторической точки зрения этот опыт все-таки еще слишком кратковремен. Наконец, если среда враждебна к евреям и нет достаточной критической массы, то еврейство в такой стране практически исчезает. Примером тому является современная Польша.

Из сказанного можно сделать вывод, что еврейская проблема, по-видимому, не имеет надежного решения без наличия еврейского государства, — даже при условии, что евреи сохраняются в других странах, как независимая этническая группа.

3. Необходимость еврейского государства. Уже Тора подчерки-

вает, что еврейский народ должен иметь свою собственную территорию: Бог обещает ему это и выводит в землю Ханаанскую.

Конечно, этот тезис может быть оспорен: в конечном счете, евреи выжили не в своей стране, а в диаспоре; выжили в диаспоре армяне; выжили и вообще не имевшие территории цыгане. Но опыт прошлого не является гарантией на будущее. Отсутствие государственности может в каких-то критических ситуациях оказаться для данной этнической группы роковым, особенно при развитии дешевых средств массового уничтожения, несоразмерности силы вооруженных убийц и беззащитных жертв.

Можно полагать, что государственность есть *н е о б х о д и м о е* (но, возможно, недостаточное) условие для *д л и т е л ь н о г о* сохранения этнической общности, поскольку такая государственность *з а щ и щ а е т к у л ь т у р у*, то есть генетический код этноса, равно как и все связанные с ней общественные структуры. История показывает, что без наличия государственности, без наличия своей территории евреи многократно становились объектом многообразных форм притеснения: от попыток (и подчас весьма удачных) прямого физического уничтожения до изгнания из страны проживания. Достаточно вспомнить в этой связи все ту же Тору. Случалось, что некоторые государи специально приглашали евреев жить на их территории и создавали им для этого хорошие условия. Но потом, когда евреи становились там общественной силой и начинали играть заметную роль в развитии страны, их в лучшем случае изгоняли из страны, а в худшем — пытались уничтожить.

Как говорит Тора, “жил Авраам в земле Филистимской, как странник, дни многие” (Бытие, 21:33) и жил там в мире с царем Авимелехом. Затем в дни голода пришел в земли филистимские сын Авраама Исаак. Он был радушно принят и весьма преуспел в своих деяниях.

“И стал великим человек сей и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного рогатого скота и множество пахотных земель, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его, Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас; ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда” (Бытие, 26:13–17).

Иосиф, случайно попав в Египет, был отмечен фараоном. Слава Иосифа была велика, и он много сделал для процветания Египта

и усиления фараона. Однако, после смерти Иосифа

“сыны Израилевы расплодился и размножились и возросли и усилились чрезвычайно и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей” (Исход, 1:7–10).

И фараон приказал:

“всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку” (Исход, 1:22).

Конец этой истории известен: под угрозой полного исчезновения евреям удалось уйти из Египта, преодолев при этом огромные трудности.

Эта “Модель Иосифа”, как назвал ее Б. Мойшезон, весьма и весьма поучительна. Она многократно повторялась в истории; в одном лишь нашем столетии она была “весьма успешно” опробована в Германии, СССР, Польше. И кто знает, где она повторится еще?

Итак, я согласен с теми, кто считает, что еврейское государство необходимо. Я также согласен с теми, кто уже в конце XIX века понял, что это государство необходимо безотлагательно. В свое время Бог обещал Аврааму землю Ханаанскую для идущего от него великого народа, но сказал ему, что сейчас время еще не пришло — нужно еще триста лет, “ибо мера беззаконий Amorреев доселе еще не наполнилась” (Бытие, 15:16). Катастрофа показала, что мнение сионистов было основательным: время для создания еврейского государства наступило.

Допустим теперь, что мои рассуждения об относительной роли государства и диаспоры ложны и что более желательно возвращение всех евреев в свое государство. Даже в этом случае возникает весьма сложная проблема, связанная с формированием такого рода государства.

Я понимаю недоуменный вопрос читателя: “При чем тут проблема “формирования” еврейского государства, когда такое государство, Израиль, уже существует?”

Да, я разделяю мнение тех, кто считает, что еврейское государство необходимо и необходимо именно сейчас. Я также разделяю мнение тех, кто видит в государстве Израиль наилучшее решение этой проблемы в н а с т о я щ е м (об этом я еще скажу ниже). Но дело в том, что я не могу — без соответствующего анализа

принять это решение как единственно возможное, когда речь идет о проблеме еврейской государственности вообще.

4. Создание еврейского государства на путях прошлого, настоящего и будущего. Конкретные формы еврейского государства могут диктоваться по крайней мере тремя разными критериями — прошлого, настоящего и будущего.

По первому критерию, то есть с учетом прошлого, создание еврейского государства обязательно связывается с Эрец Исраэль, землей предков, о б е т о в а н н о й з е м л е й. Это великая идея, она сумела захватить миллионы евреев и победить. В 1948 году было создано государство Израиль. За короткое время в стране была создана демократическая система (и это несмотря на враждебнейшее окружение и частые войны), свое сельское хозяйство и промышленность, а также гордость Израиля — одна из лучших в мире армий. Все это еще раз доказало, что потенциал нации столь велик, что она может в самые короткие сроки сформировать новые области деятельности, которые веками считались чуждыми еврейству.

Тем не менее на пути реализации идеи еврейского государства в Палестине имеются существенные трудности. Еврейское государство неизбежно оказывается здесь во враждебном окружении арабских стран, которые великие державы снабжают современным оружием. Израиль, даже если бы он собрал всех евреев, вряд ли способен сам производить разнообразные виды современного оружия в достаточном количестве, чтобы противостоять возможным блокам мусульманских стран; малость территории страны также усиливает уязвимость Израиля. Поэтому оборона Израиля поставлена в значительной мере в зависимость от благожелательности той или иной великой державы.

При этом надо учесть, что арабско-израильский конфликт не может не быть затяжным. Это, с одной стороны, определяется тем, что культура арабских стран преимущественно тяготеет к авторитарным режимам и сопутствующему им уродливому экономическому развитию и агрессивности; даже если они в экономическом отношении процветают, то процветание это эфемерно, так как держится на богатстве природного монопродукта (нефти)*. С другой стороны, культура Израиля тяготеет преимуще-

* Не случайно С. Кузнец в своей работе *Modern Economic Growth* (New Haven: Yale University Press, 1966) исключил из рассмотрения арабские стра-

ственно к плюралистическому демократическому обществу и сопутствующему ему эффективному и всестороннему развитию экономики и миролюбивой внешней политике. Поэтому Израиль на многие годы будет неприятной моделью для лидеров арабских стран**. И по той же причине военная зависимость маленького Израиля от великой державы, особенно в наш век развития оружия, будет еще долго оставаться существенной. А великие державы имеют свои интересы и могут во имя этих своих интересов жертвовать своими сателлитами.

В силу военной опасности и экономических трудностей привлечь и удержать евреев в Израиле, пока в диаспоре нет реальной угрозы, весьма трудно. Военные и экономические трудности весьма осложняют е ж е д н е в н у ю, будничную жизнь евреев в Израиле, они существенно мешают ее совмещению с их о б щ е й привязанностью к великой идее государственности.

По второму критерию, то есть со взглядом на настоящее, еврейское государство могло бы быть создано за счет покупки земли в каком-нибудь государстве (в наше время были проекты покупки земли в Канаде, Кении и др. в прошлом — в Аргентине и т. п.). Однако эта, так называемая “территориалистская” идея так никогда и не была реализована — и в немалой степени потому, что за ней не было т р а д и ц и и. По той же причине (углубленной еще большими трудностями существования в смысле враждебного окружения) нереальна и такая разновидность решения проблемы еврейской государственности как автономия в рамках великой державы (идея “автономизма”, тоже популярная в начале нашего века). Даже если бы вместо болотистого и малярийного Биробиджана советские евреи получили вожделенный для них некогда Крым, жизнь там, в рамках тоталитарного Советского Союза, была бы несносной. Более того, в любое время эта автономия могла бы быть отнята.

По третьему критерию, то есть с взглядом на будущее, еврейское государство могло бы быть создано на новых, революционных путях, то есть с использованием новейших технических

ны. Хотя некоторые из этих стран имеют высокий национальный доход, их развитие основано на монопродукте и поэтому не соответствует требованиям современного экономического роста.

*** Попутно замечу, что в силу культуры народа, в каком бы окружении не находилось еврейское государство, оно своей повышенной динамичностью и пионерством всегда будет неприятной моделью для соседних стран.*

средств. Скажем, при наличии дешевой термоядерной энергии из неограниченных водных источников такое государство могло бы быть создано на плавучих островах (подобная идея уже высказывалась кем-то из эмигрантских авторов). Технически создание плавучих островов в малом масштабе уже сегодня является реальностью: такие острова используются для добычи нефти из морских скважин. Япония и Саудовская Аравия планируют построить в своих прибрежных водах довольно большие острова такого рода. Однако поддержание равновесия о г р о м н ы х искусственных островов в открытом море или океане может потребовать слишком большого количества энергии.

Другого рода фантастическая идея еврейской государственности связана с расселением евреев в космосе*. Но на этом пути (учитывая вдобавок изменения в физиологии человека при длительном пребывании в космосе) могут возникнуть еще большие трудности, чем при реализации идеи плавучих островов.

Такого рода фантастические идеи эксплуатируют еврейскую традицию к пионерству и, возможно, окажутся вполне привлекательными для заметного числа евреев, активно приобщившихся к цивилизации. Напомню, что еврейская традиция пионерства имеет даже более длительную историю, чем идея обетованной земли. На основе имеющихся данных можно выдвинуть гипотезу, что евреи были носителями многих значительных новаторских идей уже в предбиблейскую эпоху.**

Выше я кратко изложил некоторые доводы за и против вариантов создания еврейского государства по трем возможным критериям. Из этого описания видно, что идея создания еврейского государства по первому критерию победила, так как она опиралась на мощнейшую и при том технически д о п у с т и м у ю т р а д и ц и ю. Вариант создания еврейской государственности по второму критерию оказался, по-видимому, несостоятельным, потому что в нем не было цементирующей идеи, идущей от прошлого или к будущему (но связанному с прошлым), а преобладал прагматизм

* Я не могу гарантировать достоверность данной информации, но сообщают, будто некий американский еврейский миллионер оставил деньги для фонда, предназначенного стимулировать исследования возможных путей расселения евреев в космосе.

** В этой связи огромный интерес представляет статья Б. Мойшезона "Загадки древних цивилизаций" (журнал "Народ и земля", № 1, 2, 3, 6).

настоящего. Создание государства по третьему критерию, если даже имеет потенциал для выживания с точки зрения эксплуатации традиции (в данном случае — пионерской), прежде всего должен стать технически возможным. Так, для плавучих островов в открытых водах требуется в больших количествах дешевая энергия. Но, увы! Сколько еще лет для этого понадобится!

Итак, сегодня единственно реалистичным остается лишь первый путь создания еврейского государства — тот, который и был воплощен.

Допустим, теперь, что, поскольку создание еврейского государства в Эрец Исраэль является единственным решением еврейской проблемы, то и все евреи (то есть все, кто не принимает ассимиляцию) должны жить в таком государстве. Как обеспечить массовое возвращение евреев диаспоры в Израиль в условиях, когда в странах диаспоры нет (пока) критической ситуации?

5. Об эмиграции евреев в Израиль. Весьма и весьма трудно, не родившись в Израиле, не имея там глубоких корней и располагая возможностью жить в благоприятных условиях в диаспоре, переезжать в страну, которая воспринимается как осажденная крепость, требующая твердости духа и огромной веры в возможность ее длительного существования и будущего расцвета. Для привлечения евреев в Израиль нужно время, нужно во многом изменить психологию людей, которая является таким же объективным фактом, как и условия их жизни в диаспоре.

В Торе имеются очень глубокие рассуждения по этому поводу. Когда Бог выводил евреев из Египта в землю обетованную, Он мог указать Моисею кратчайший путь; вместо этого был указан другой маршрут, и вот что по этому поводу говорит Тора:

“Когда же фараон отпустил народ, то Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю” (Исход, 13:17–18).

Как известно, по пустыне еврейский народ шел к земле обетованной сорок лет. Это было наказание всем тем, кто возроптал на Бога, тем, кто встретившись с трудностями, их испугались, так как выросли в египетской неволе, вкусили блага хорошей жизни, которая была до прихода последнего фараона, и боялись вравов.

Вот что далее говорит по этому поводу Тора:

“В пустыне сей падут тела ваши, и все исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, подымля руку Мою, к л я л с я поселить вас, кроме Халева, сына Иеффониина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу в р а г а м, я введу т у д а, и они узнают землю, которую вы презрели; а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все ваши тела в пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, ч т о з н а ч и т быть оставленным Мною” (Числа 14:29–34).

Вместо заключения

Всем сказанным я вовсе не хочу снять с себя моральную вину за то, что выехал из СССР по израильской визе и не поехал в Израиль.

Мое право было уехать из СССР в любую другую страну, которая мне нравится и готова меня принять. Но не менее важно, как уезжать. Есть неприглядность в такого рода выезде, так как он связан с ложью. Конечно, я мог бы много сказать в свое оправдание. Я мог бы, к примеру, напомнить, что запрет лжи не входит в десять заповедей: о недопустимости лжи упоминается в Торе лишь в книге Левит, 19:11. И если следовать Торе, то сколько лгали наши праотцы, в особенности, когда оказывались в чужих землях. (См. Бытие, 12:10–20; 20:1–18 о лжи со стороны Авраама.) Но для меня ложь есть ложь независимо от цели*. И если человек оказался слаб и решился солгать, то в этом следует каяться, а не оправдываться.

Далее, выезжая из СССР, я использовал лозунги, под которыми группа мужественных советских евреев начала борьбу за выезд на свою историческую родину. Мне могут резонно сказать: почему вы не организовали ваше собственное движение за выезд из СССР не в Израиль? И мне кажется, что такой упрек тоже имеет самые серьезные основания. Но тут в разъяснение можно напо-

* Я разделяю мнение А. И. Солженицына, что прежде всего надо жить не по лжи. К сожалению, я не могу принять воплощения этого утверждения самим Солженицыным. Как сказал, кажется, В. Буковский, Солженицын призывает жить не по лжи всеми правдами и неправдами и, добавлю от себя, — полуправдами, что не лучше.

мнить, что советские лидеры не выпускали евреев просто так. Они цинично продавали их Америке как свою собственность взамен за детант и сопутствующие ему блага. И советским лидерам было удобно выпускать евреев именно в Израиль. Это давало им еще до выезда возможность лишать выезжающих советского гражданства и тем самым избежать всяких хлопот, которые могут доставить эмигранты, сохраняющие советский паспорт и желающие возвратиться обратно или навестить своих родственников и друзей. Такого рода акция по лишению гражданства была формально оправдана в глазах общественного мнения в случаях эмиграции в государства, с которыми СССР не имеет дипломатических отношений. Наконец, выезд евреев в Израиль оправдывал в глазах других народов, имеющих свою историческую землю на территории СССР, право на еврейскую эмиграцию (впрочем, как и на эмиграцию немцев; разрешение на выезд армян мотивировалось тем, что многие из них не родились в СССР, а приехали с родителями после войны). Когда же эмигрировать хотел украинец или литовец, мотивируя это тем, что он хочет воссоединиться с родственниками, ему говорили: твоя историческая родина здесь, а если ты хочешь воссоединиться со своими родственниками, то пусть о н и приезжают сюда. По всем этим причинам чисто эмиграционное движение в СССР не имело и не имеет никаких перспектив.

Закончу на этом. Если мои заметки имеют некоторый смысл, это может позволить их читателю еще раз обдумать свои взгляды на место еврея в этом мире, на свою личную силу и слабость, определившие его решение оставаться (или не оставаться) евреем и жить в той или иной стране. Я хотел бы лишь подчеркнуть в заключение, что во всех случаях, каков бы ни был выбор того или иного человека, его, этот выбор, по-видимому, нельзя считать единственным путем решения столь сложной проблемы.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

“Трое Будрысов” Адама Мицкевича

Сто шестьдесят лет назад, в конце 1827 — начала 1828 года, великий Певец Литвы, как его называли, и великий польский поэт, поскольку писал он по-польски, Адам Мицкевич создал одну из своих широко известных литовских баллад “Трое Будрысов”. Это романтическая баллада о том, как старый вояка во времена Великого Княжества Литовского, в середине XIV века, отправляет трех сыновей в три набега на соседские племена: русских, немцев и поляков. Одному он пророчит добычу в виде новгородских соболей, второму — “остзейский” янтарь, а третьему — польскую красавицу-пленницу в жены. В конце концов, все трое возвращаются с невестами-польками.

28 октября 1833 года в Болдино А. С. Пушкин сделал прекрасный вольный перевод баллады, в котором она и известна до сих пор большинству русских читателей — “Будрыс и его сыновья”. По мнению одних литературоведов, он пользовался французским подстрочником, по мнению других — он к тому времени уже хорошо знал польский и мог обойтись без подстрочника. Об этом, в частности, рассказывает в своей докторской диссертации

Эрнст Лезин

ИЗ БЛОКНОВ ПЕРЕВОДЧИКА

литовский писатель и литературовед Томас Венцлова ("Неустойчивое равновесие, восемь русских поэтических текстов", Йельский Университет, США, 1986), в работе которого дан глубокий анализ пушкинского перевода.

С "ненаучной" точки зрения русского читателя, знающего польский язык, А. С. Пушкин справедливо назвал этот перевод вольным — в нем немало вольностей, как поэтических, так и смысловых, включая исторические неточности и отступления от оригинала, который был "привязан" Мицкевичем к конкретному периоду и реальным историческим персонажам. Приведем несколько примеров.

По Мицкевичу, в набег на Новгородскую Русь готовится Великий Князь Ольгерд (по-литовски — Альгирдас) Гедиминович, который правил в 1341—1377 годах, а на тевтонов-крестоносцев — его брат и соправитель, князь Жмудский, Кейстут (Кейстутис). у Пушкина же Ольгерд и "Кестут воевода" — оба со смещенными относительно польского подлинника ударениями — меняются между собой "сферами влияния", что исторически неверно. Раскрыв, например, школьный учебник русской истории (профессор С. Ф. Платонов, изд. 1916 г., стр. 101), читаем:

"Ольгерд, живя в Вильне, был, так сказать, обращен на восток и действовал против Северо-восточной Руси; Кейстут, живя в Троках (Тракай. — Э. Л.), был обращен на запад и действовал против немцев".

Третий поход — на ляхов — в подлиннике Мицкевича возглавляет Скиргелл — или Скиргайла по-литовски — тоже историческая личность, сын Ольгерда. В перевод же А. С. Пушкиным введен вместо него почему-то Паз (в черновике было правильнее: Пац), хотя этот литовский аристократический род появился на исторической сцене тремя столетиями позже Гедимины и его сыновей, только в XVII веке.

Более существенна следующая неточность.

Пушкин:

Паз идет на поляков, а Ольгерд на *пруссаков*,
А на русских Кестут воевода.

И далее:

А другой от *пруссаков*, от проклятых *крыжаков*
Может много достать дорогого...

Мицкевич неприятеля, на которого идет князь Кейстут (а не Ольгерд!), называет "по имени" трижды:

...А ксёнз Кейстут нападне Тэўтоны...
(а князь Кейстут нападет на тевтонов)

...Нехай тэмпи Кжыжаки псубраты...
(пусть он истребляет крыжаков, собачьих братьев)

...Пэвне з Немец, муй сыну, везеш кубэл бурштыну?..
(верно, из Германии, сын мой, везешь сундук янтаря?)

То есть говорится о немцах, тевтонах, крестоносцах. Пруссаки же вовсе не упоминаются. И это понятно. Если в наше время и, по-видимому, сто пятьдесят лет назад, в пушкинские времена, уже можно бы как-то отождествить понятия "пруссак" и "немец", то в период, описываемый балладой, — за четыреста пятьдесят лет до Пушкина и за шестьсот лет до нас, — это было совершенно немыслимо. Немцы-тевтоны, "крыжаки" — члены ордена крестоносцев, основанного в 1190 году, были злейшими врагами и безжалостными притеснителями как поляков, литовцев и русских, так и пруссаков (пруссов) — вплоть до Грюнвальдского сражения 1410 года, когда ордену было нанесено сокрушительное поражение общими силами всех его врагов.

В авторских примечаниях к стихотворной повести "Гражына" Мицкевич приводит выдержки из старинных прусских хроник, свидетельствующие о звериной жестокости крестоносцев к покоренным ими племенам, в частности к пруссам. Так, тевтонский магистр Конрад фон Валленрод, которому посвящена другая повесть Мицкевича, разгневавшись на одного прусского магната, приказал отсечь правую руку всем его крестьянам. "Неудивительно, — пишет А. Мицкевич, — что пруссаки и их побратимы литвины испытывали к немцам извечную ненависть, которая почти превратилась уже в их врожденную черту характера. В языческие времена, да и после принятия христианства, когда хоронили литвина или пруссака, то оплакивая его, пели: "Иди, бедняга, в лучший мир, где кровожадные немцы не будут властвовать над тобой, но ты над ними".

Даже немецкий писатель Август фон Коцебу, который, по словам Мицкевича, не отличался приятностью к литвинам и пруссам, в своей "Истории древней Пруссии" (Рига, 1808 год) дает такой

красноречивый пример: "...А поскольку немцам редко удавалось овладеть тонкостями чужих языков, то пруссы обычно о каком-либо ограниченном человеке говорили: он глуп, как немец".

Все эти соображения, а также убежденность, что переводы хороших стихов следует хотя бы раз в сто-двести лет подновлять, приспособивая к современному языку, помогли мне преодолеть понятную робость перед авторитетом Александра Сергеевича и попробовать перевести балладу заново. Впрочем, я ведь не соревнуюсь с ним в поэтическом мастерстве, а "выступаю в ином жанре": вместо вольного перевода предлагаю "невольный", стараюсь приблизить его к оригиналу в смысловом отношении, неизбежно проигрывая в поэтическом, по части звукописи и других тонкостей: это уж как Бог даст!

Попутно, пользуясь правом любого литературного переводчика на свой собственный "вкус и цвет", я постарался избежать тех вольностей пушкинского перевода, которые одновременно и Мицкевича искажают, и мне как читателю не нравятся.

Например:

Три у Будрыса сына, как и он, три Литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
"Дети! Седла чините..."

Спрашивается, зачем подчеркивать: "как и он"? Раз сыновья, значит, и национальность та же! Оказывается, у Мицкевича было (подстрочник):

Старый Будрыс трех сынов, *могучих, как сам он*, Литвинов
На (свой) двор призывает и молвит:
"Выводите коней..."

Значит, все четверо могучие! Тогда и "дети" неуместно. Да к тому же не он к ним пришел, а они — на зов патриарха: послушные, хоть и "молодцы":

Привезет он мне *на дом* невестку.

В наше время очень уж созвучно со сферой обслуживания. Пора обновить.

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела, что котенок у печки,
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто две свечки!

Прекрасная строфа! Всегда мне нравилась. Но заглянем в Мицкевича, как там?

...Ибо милее пленниц из всех земель — польки-возлюбленные,
Веселенькие (шаловливые) как маленькие котятка,
Лицо — белее молока, веки с черными ресницами,
Очи блестят как две звездочки.

Итак, царицы никакой не было: были "пленницы с моря дальнего". "Как роза румяна" — это тоже: скорее подошло бы русской красавице — "величавой, будто пава". По-видимому, польскому "стандарту" больше соответствует белая кожа и черные брови-ресницы (возможно, и глаза?). Во всяком случае, последние похожи не на гробовые свечки и не "светятся" как глаза вампиров в американских-фильмах, а б л е с т я т — живо, как звездочки — и романтично, и таинственно, и трогательно: "як дзьве гвядэчки".

И так далее: по возможности приближаясь к подлиннику, стараясь не слишком его испортить:

Адам Мицкевич

Будрыс и его сыновья

Три у Будрыса сына, *как и он, три литвина.*
Он пришел толковать с молодцами.
"*Дети!* седла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на пруссаков,
А на русских *Кестут* воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(*Да хранят вас литовские боги!*),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах,
Домы полны; богат их обычай.

*А другой от пруссаков, от проклятых крыжачков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета;
Янтаря — что песку там морского.*

Третий с *Пазом* на ляха пусть ударит без страха;
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но, уж верно, оттуда
Привезет он мне *на дом* невестку.

Нет на свете *царицы* краше польской девицы.
Весела, что котенок у печки,
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто *две свечки!*

Был я, *дети*, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку”.

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями *проводит*, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!

Снег на землю *валился*, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
“Чем тебя *наделили?* что там? Ге! не рубли ли?”
“Нет, отец мой; полячка младая”.

Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
“Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?” —
“Нет, отец мой; полячка младая”.

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

Перевод А. С. Пушкина

Трое Будрысов

Старый Будрыс на мызу трех сынов своих вызвал,
Трех литвинов, как сам он, могучих,
И сказал им: "Ступайте, трех коней оседлайте,
Да мечи наточите получше.

В Вильне трубы играют, рать в поход собирают
Воеводы к соседским кордонам:
Ольгерд — русским дать страху, Скиргелл — гордому ляху,
А князь Кейстут проклятым тевтонам.

Вы сильны и умелы, ждет вас бранное дело,
Пусть ведут вас литовские боги!
Сам уж я не вояка, мой совет вам однако:
Меж собой поделите дороги.

Должен меньший из братьев ехать с Ольгерда ратью
Осаждать новгородские стены.
Это город богатый, там не считано злато,
И собольи меха драгоценны.

Средний — с Кейстутом ныне едет к двинской долине
Немца бить — неприятеля злого.
Он в обиде не будет: самоцветов добудет,
Янтаря и сукна дорогого.

А со Скиргеллом в Польшу пусть отправится больший:
Справит щит себе, саблю — и только:
Там с поживою худо, но возьмет он оттуда
Мне в невестки красавицу польку.

Ибо нет полонянки лучше польки-белянки:
Как котенок веселый резвится,
И блестят ее очи, будто звездочки ночи:
В черный бархат их прячут ресницы.

Был я вас помоложе — я за Неманом тоже
Взял жену себе — польку младую.
Хоть давно ее нету, а как в сторону эту
Погляжу, так о ней затоскую..."

Сыновья поклонились, взяли копыя, простились,
В седла сели и прочь поскакали.
Ждал их Будрыс все лето, осень ждал — все их нету,
Он уж думал, в сражениях ꙗли.

Только глядь — по пороше всадник с тяжкою ношей
Едет, буркой ее укрывая.

— С чем ты, сын, с соболями, с золотыми рублями?
— Нет, отец, это полька младая!
По искристой пороше ратник с тяжкою ношей
Скачет, буркой ее укрывая.

— Не тевтонские ль это янтари, самоцветы?
— Нет, отец, это полька младая!

Пыль морозная вьется, третий воин несется,
Черной буркой добычу скрывает.
Старый Будрыс с порога шлет гонцов по дорогам,
На три свадьбы гостей созывает.

*Перевел с польского Эрнст Левин
июнь 1987.*

"Бросить бы это..." Юлиана Тувима

Какое совпадение! Совсем недавно закончил вариант перевода "Трех Будрысов" Мицкевича, и вот — уже после этого — с большим удовольствием прочитал в "22" (№ 53) заметки М. Генделева и Д. Юста о поэтическом переводе. Я — не специалист в теории перевода и перед теоретиками молчаливо склоняюсь. Но практика этого дела, а конкретней — переделка "классических", "хрестоматийных", но не очень удачных, по моему мнению, переводов — является моим хобби уже более четверти века. В числе прочих попадался мне когда-то на глаза и маршаковский перевод из Байрона, о котором пишет Д. Юст. Мне тоже была совершенно непонятна странная "связь времен":

За греков и римлян в далеком краю...

Ну, греки и Байрон — это ясно. А причем здесь римляне? Они же ж древние... Поэтому я разыскал подлинник и пришел к тем же выводам, что и Д. Юст. В свою папку "исправленных переводов" я занес тогда такой вариант:

Стансы

Если не за что драться в отчизне твоей,
У соседей найдутся излишки;
Греко-римский хитон надевай поскорей
И валяй, зарабатывай шишки!

Бой за благо людей! — Нет возвышенной дел,
И оплачен он будет сторицей.
Выступай за свободу вегда и везде:
Или вздернут, иль будешь ты — рыцарь!

Конечно, многие (да и я сам в том числе) смогут предложить лучшие переводы. Я убежден, что это нужно. Что же касается конкретного варианта, предложенного Давидом Юстом, то — с одной стороны: “Ах, черт, — подумал я, — все-таки докопался он до моего словечка “сторицей”! Только почему для “рыцаря” не использовал?” А с другой стороны — не понравился мне его перевод. По крайней мере, по двум причинам: первая — “римские и греческие рожи” (почему же эти красавчики — “рожи”?!); вторая — “мыльную петлю... в петлицу”.

Но в любом случае, я думаю, Майя Каганская не права: “перерывать старье” можно и должно. Особенно если оно содержит явные недоразумения и нелепицы.

В качестве иллюстрации я поднял из своего архива одно стихотворение любимейшего моего поэта Юлиана Тувима. В молодости я много занимался польским языком (в Польше “оттепель” началась раньше, чем в Союзе”), и в 1957 году мне удалось купить пятитомник Тувима — изданный в Кракове в 1955 году издательством “Чытэльнік”. В первом томе, на странице 187, я нашел прелестное стихотворение под названием “Бросил бы я все это”.

Стихотворение не только очень милое, но и очень легкое для перевода. Размер идеально соответствует настроению, без всяких усилий сохраняется по-русски, и вообще перевод можно сделать почти буквальный! Но мне тогда и в голову не пришло этим заниматься: стихи и так остались в моей памяти как бы в русском звучании. Да вот — прочтите сами: текст написан русскими и белорусскими буквами (буква “ў” звучит вроде английского “дабл्यू” — так большинство поляков выговаривает твердое “л”; получается “ўодка” вместо “лодка”; знаком ‘ обозначается носовой звук; ударение в некоторых словах обозначено точкой под ударной гласной, обычно же — на предпоследнем слогѐ).

Жучиубым то вшыстка...

Жучиубым то вшыстка, жучиубым од разу,
Осядбым есене’ в Кутне люб Шьерадзу.

В Кутне люб Шьерадзу, Равье люб Лэ’чыцы,
В партэровым дому, п ши чихэй улицы.

Быуобы там чьепуо, чясно, але миуо,
Дужо бы се спауо, чэ'сто бы се пиуо.

Там когуты ранкем на опуотках пее',
Там со'шьеджи добжы тье' и глупее'.

Пошед бым до карчмы, усяд бым в ко'чичку,
По' тым, цо не вручи, попуакау' по чыху.

Погадау' бым з тобо' пши ампуу'цэ вина:
"Но и цуж, кохана, цуж, моя едына?"

Жаль чи забав, гвару, тэ'скно до столицы?
Нудишь се ту пэвно в Кутне люб Лэ'чыцы?"

Ниц бышь не оджэкуа, ниц, моя кохана,
Суухауа бышь вихру в комине до рана...

И думауа дууго в ле'ку и тэ'скницы:
— Чэго он ту шука в Кутне люб Лэ'чыцы?"

Года через два-три я приобрел первый маленький сборник Тувима на русском языке: "Весны и осени", перевод с польского Д. Самойлова, Детгиз, Москва, 1959 год. В нём, на странице 96, я увидел стихок под названием "Покинуть бы это"... Я люблю и уважаю Давида Самойлова, но тут я просто остолбенел: откуда эта лихость, бесшабашность, почти бездумность?! "Ма пит'ом" появляется какой-то кавалерийский четырехстопный амфибрахий? Ведь так легко было сохранить тувимовский размер — а с ним и грусть, и задушевность... Это ведь совсем другой стих получился!

Юлиан Тувим

Покинуть бы это ...

Покинуть бы это, однажды решиться
Осенним бы делом заехать в Ленчицу.

В Серадзе иль Раве, Левчице иль Кутно
Нашел бы домишко и зажил уютно.

Тепло бы там было, мы печку б топили,
И поздно бы спали, и сладко бы пили.

Там кочеты утром поют на заборах,
Соседи глупеют в пустых разговорах.

Пошел бы в харчевню, засел в уголок,
О том бы поплакал, чего не воротить.

Тебе бы промолвил, винца наливая:
— Ну что, дорогая? Ну что, золотая?

Соскучилась, видно, грустишь по Варшаве?
Небось надоело в Серадзе иль Раве?

А ты бы в ответ не сказала ни слова,
Все слушала б жалобы ветра ночного.

И думала б долго, смежая ресницы:
"Чего он здесь ищет, в Серадзе, в Ленчице?"

Перевод Д. Самойлова

При этом содержание передано вполне точно. В чем же дело? Очнувшись от первого шока и подавив столь характерное для советского человека "гневное возмущение" несправедливостью и обидой, которые причинили моему любимому поэту, я здраво поразмыслил и пришел к следующей гипотезе. Очевидно, Д. Самойлов работал по подстрочнику, составленному человеком, недостаточно знающим польский язык — во всяком случае, стихосложение. Этот человек, твердо усвоивший, что в польском языке "ударение всегда падает на предпоследний слог", представил Самойлову "рыбу" (то есть модель ритма), в которой первая строка была и с к а ж е н а ошибочным прочтением: вместо "жучиубым" ("бросил бы я") дважды — по общим правилам! — прочтено "жучиубым". То есть эта самая "рыба" вместо своего естественного вида — например, такого:

Маленькая рыбка, где твоя улыбка? —
Раньше ты плясала, нынче же — не шибко...

приобрела несколько иную форму — например, такую:

Чего загрустила, веселая рыбка? —
Вчера ты плясала, а нынче — не шибко!

"А дальше, — сказал, по-видимому, этот горе-рыбак Давиду Са-

мойловичу, — все повторяется, и так до конца”. Тот поверил и честно... изуродовал все настроение стиха своим лихим амфибрахией.

Всем бы хороша была моя гипотеза, кабы не слово “нынче”, то бишь “в Кутне” у Тувима во второй строке. Не мог ведь “рыбак”, столь ревностно блюдуший ударения на предпоследнем слоге, прочесть “в Кутне” с ударением на последнем?! Или он обманул Самойлова? Или смоделировал ему только одну — первую строчку? Не знаю. На этот вопрос лучше могли бы ответить более искушенные теоретики перевода — М. Генделев, Д. Юст или... сам Д. С. Самойлов.

Я же ограничился тем, что просто перевел стихи заново — очень быстро и очень легко (хотя обычно работаю страшно медленно — “Жиденка” того же Тувима уже двадцать восемь лет мучаю — никак не могу довести до удовлетворительного звучания!).

К слову — еще один пример медвежьей услуги, оказанной тому же Д. Самойлову безграмотным подстрочником (? — снова гипотеза). В этом же сборнике, в одной из “Строф о позднем лете” читаем:

Словно платки в лоханку,
Тучки брошены в воду...

Боже! Среди прекрасных пейзажных зарисовок вдруг такой отталкивающий образ! Откуда это?! Смотрю в подлинник:

Облоки лежо' в ставе
Як платки в шклянцэ воды...

(“Облака лежат в пруду, как лепестки в стакане воды”) — совсем же другое дело! Что же это за “специалист” — не знает, что “платэк” — это лепесток по-польски?! Переводит “платки” — хорошо еще, что не портянки: они бы к лоханке в самый раз подошли!

В следующем сборнике Ю. Тувима (Изд-во “Художественная литература”, Москва, 1965 год) “Строфы о позднем лете” появились, слава Богу, в новом переводе М. Павловой:

Облака в пруду неподвижны,
Лепестками упали в воду...

Но “Покинуть бы это” так и осталось без изменений. Правда,

с тех пор прошло еще двадцать два года — возможно, давно уже изданы новые переводы Тувима. Но мне, к сожалению, ничего об этом не известно. И вот, готовя эти заметки, я извлек на свет свой старый перевод. Изменил — по сравнению с 1960 годом — только последнюю строку: раньше было “И чего он ищет тут...”

Юлиан Тувим

Бросить бы все это...

Бросить бы все это, бросить бы не глядя,
Поселиться осенью в Кутно иль Серадзе.

В Кутно иль Серадзе, Раве иль Леннице,
В тихом переулке, в хатке поселиться.

Было б там уютно, тесновато малость,
Хорошо пилось бы, хорошо дремалось.

Петухи бы утром на заборах пели,
Добрые соседи пухли б и глупели.

Сел бы я за столик в кабачке напротив
И оплакал тихо все, что не воротить.

У тебя спросил бы, отхлебнув вина, я:
“Ну и что ж, любимая? Что, моя родная?”

Жаль тебе веселья, гомона столицы?
Скучно здесь живется, в Кутно иль Леннице?”

А моя родная, слова не ответив,
До утра бы слушала в дымоходе ветер

И с тоскою думала, опустив ресницы:
“Что же он тут ищет, в Кутно иль Леннице?”

*Перевел с польского Эрнст Левин
Минск, 1960 год.*

Жанр своей "Поэмы без героя" А. Ахматова окончательно определила только в 1962 году. В проекте титульного листа к Поэме появилось: "Триптих. Трагическая симфония. 1962".

2 января 1961 года она записывает: "Сегодня М. А. З (енкевич) долго и подробно говорил о "Триптихе". Она (т. е. Поэма), по его мнению, — Трагическая симфония, — музыка ей не нужна, потому что содержится в ней самой. Автор говорит как судьба (Ананке), подымаясь над всем — людьми, временем, событиями. Сделано очень крепко. Слово акмеистическое, с твердо очерченными границами. По фантастике близко к "Заблудившемуся Трамваю". По простоте сюжета, который можно пересказать в двух словах, — к "Мед (ному; Вс (аднику)". Тон записи и подробности характеристики показывают, что Ахматова согласна с Зенкевичем.

Она ревнива к мнению критиков, особенно к их суждениям о музыке в Поэме. "Итак, — записывает она в другой раз, — если слова Берковского не просто комплимент, — "Поэма без героя" обладает всеми качествами и свойствами **совершенно нового** и не имеющего в истории литературы прецедента-произведения, потому что ссылка на музыку не может быть прило-

Инна Чечельницкая

К 100-ЛЕТИЮ
АННЫ АХМАТОВОЙ:
Ахматова и Шостакович

(к характеристике жанра
"Поэмы без героя")

жена ни к одному известному нам литературному произведению”.

* * *

В рукописях Ахматовой мы находим ее примечание к строкам главы “Решка”. “Рок. Ананке” приписано к строкам: “Скоро мне нужна будет лира / Но Софокла уже, не Шекспира / На пороге стоит — Судьба”.

Примечание раскрывает главную тему Поэмы. Ананке в греческой мифологии — божество неизбежности. У Софокла Ананке — насилие; у Гомера — насилие, пытка. Отметим, что указанное примечание относится к главе “Решка”. Решка, решетка — обратная сторона монеты, на ней был “кудрявый вензель” (Даль), напоминавший решетку. Следовательно, этот ряд понятий у Ахматовой выстраивается так: решка—решетка—тюрьма; а тюрьма неизбежна.

О насильственной смерти и роковой судьбе рассказывает Поэма. Действующие лица ее — герои мистерии, Дионисова действия. Вакханка — “Как копытца, топчут сапожки / Как бубенчик, звенят сережки/ В бледных локонах злые рожки/Окаянной пляской пьяна”; ряженные в масках, “бражники и блудницы” в козлиных шкурах, пляшущие под ритм тимпана. Роль трагического хора исполняет в Поэме Автор: “я же роль античного хора на себя согласна принять”. Хоревт в трагической маске страдания: “Рот ее сведен и открыт/Словно рот трагической маски/Но он черной замазан краской/И сухой землей забит”. Именно Софокл ввел в трагедию триагониста — третьего героя, и, как у Софокла, в Поэме три героя — “там их трое”. Все три героя выступают в масках: они козлообразны — “и мохнатый и рыжий кто-то козлоногую приволок”. В другой редакции эта образность подчеркивает музыкальный элемент Поэмы: “И какой-то еще с тимпаном Козлоногую приволок”. Ахматова говорила Чуковской: “И Дионисово действие, и легенда о смерти Софокла, это та античность, чувство которой должно быть внутри... Этим надо жить”. Здесь и характеристика самоощущения автора, и обозначение смысла эпохи.

Комментируя строки “Решки” и определяя Поэму как Трагическую симфонию, Ахматова раскрывает смысл Поэмы, самую суть которой (составляют структурные ряды: мистерия—тайна—

таинство; Дионисово действо — панихида — плачи и причитания; трагедия — смерть как тайна — погребение как таинство.

* * *

Вслед за Пушкиным — “трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические” — Ахматова определяет особенность своей Поэмы-трагедии: “У меня в Поэме — настоящая физическая смерть героя”. Она характеризует шекспировские “эффектные злодеяния, страсти, дуэли” как “мелочь, детские игры, по сравнению с жизнью каждого из нас, ...но и наша благополучная жизнь — шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах,.. камни вопиют, тростник обретает речь”.

Ахматова переносит в Поэму “горечь и стыд за современность”, различает искусственное восприятие человеческих страданий и “истину страстей, правдоподобие чувств”; именно в этом Пушкин видел цель драматического писателя. В повседневной жизни она, переключаясь с Мандельштамом, находит отголоски античных трагедий.

Мандельштам прозрел видения будущего зрителя “воздушно-каменного театра времен растущих”, смотрящего на его современность как на события, происходящие на сцене древнегреческого театра, где герои трагедии переносят страдания “рожденных, гибельных и смерти неимущих”. Видя трагедию своего времени, Мандельштам провозгласил будущее трагедии как жанра.

Трагедия возродилась вновь в “Поэме без героя” — “трагедия с одним хором, без героя” (Мандельштам). Герои отсутствуют, за них говорит и отвечает их словами, строками их стихов хор-автор, страдающий и торжественный, чья судьба угадана Мандельштамом: “забытый на сцене, брошенный, предоставленный самому себе... Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет — нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища”.

Изменение событий в Поэме происходят, как и в трагедиях Софокла, с приходом вестника. В поэме этот вестник — Двадцатый век: “Приближался не календарный — Настоящий Двадцатый век”. Он приносит несчастья, страдания, страх, насилие, смерть. Но, подобно трагическому вестнику, он приносит “перемену событий к противоположному” (Аристотель).

Аристотель выделяет четыре вида трагедии: “сплетенная; в которой все основано на перипетии и узнавании”; “трагедия страданий”, например, “Аянт” Софокла; трагедия чудесного, т. е. фантастического, где “действие происходит в Аиде”. Затем Аристотель называет “трагедию характера” и заключает: “Лучше всего стараться, чтобы трагедия заключала в себе все эти виды”.

“Поэма без героя” включает в себе именно все виды трагедий, указанные Аристотелем. Перипетии и узнавание героев и их стихов мы находим в первых двух главах Поэмы. В этих же главах раскрываются характеры героев. Фантастика карнавала, “полночная Гофманиана”, а также действие первой главы, происходящее в фантастическом чудесном сне, — “трагедия чудесного”. “Трагедия страдания”, переходящая из плана в план Поэмы, заканчивается финалом-Эпилогом.

Аристотель наставляет: “Хор должно считать одним из актеров; он должен быть частью целого и играть роль не как у Еврипида, но как у Софокла”. Автор Поэмы, как мы знаем, принимает на себя роль “рокового хора” и действует как герой трагедии. Не комментирует, не морализует, а страдает и действует вместе с героями трагедии.

Почти напрямую заимствована роль Антигоны, оплакивающей братьев, страдающей в поисках их могил, одинокой: “Неоплакана близкими/Я к холму погребальному/К небывалой могиле иду.../ Неоплаканную долю/Не проводит стон друзей”. А у Ахматовой: “Непогребенных всех — я хоронила их/Я всех оплакала, а кто меня оплачет?”

Панихида по умершим — одна из причин создания Поэмы. Ахматова говорила о могиле праведника как об античном веровании. Она упоминает в Поэме братские могилы. Это — могилы братьев, а не только общие могилы, где “по-братски” похоронено несколько человек. И это также сближает Поэму с “Антигоной”: “Чтить мертвых — дело благочестья”. И со строчками Мандельштама: “Снова Антигона требует погребения и возлияний для милого братнего тела”.

* * *

Обратимся теперь к фактам иного рода. В Примечаниях автора к строкам Эпилога сказано: “Седьмая — ленинградская симфония Шостаковича. Первую часть этой симфонии автор вывез из осаж-

денного города 29 сентября 1941 года". В первой редакции строки Эпелога читались так: "А за мною, тайной сверкая/И назвавши себя "Седьмая"/На неслышанный мчалась пир/Притворившись нотной тетрадкой/Знаменитая Ленинградка/Возвращалась в родной эфир".

Какую тайну скрывала Седьмая Симфония Шостаковича?

О ней все знали, что она посвящена героизму ленинградцев, отстоявших город. В ней "тема войны и тема сопротивления", "это — памятник погибшим в бою", "это залог победы будущей — победы решающей" — так писали о симфонии ее первые слушатели. Сам же Шостакович, выступая в сентябре 1941 года по ленинградскому радио, сообщил, что он закончил партитуру двух частей большого симфонического произведения: "я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально".

Он ни словом не обмолвился тогда о теме своей новой симфонии, он ничего не сказал о том, что посвящает эту работу своим согражданам-героям. Правда, в общем контексте речи он превозносил мужество и героизм ленинградцев. Тема войны и сопротивления врагу и не могла не присутствовать в сочинении, написанном в ту пору. Слушателям естественно было трактовать симфонию так, как они ее трактовали. Шостакович против этого не возражал.

Но идет ли речь именно об этой и только об этой войне?

Почти в одно и то же время с Шостаковичем к ленинградцам обратилась по радио и Ахматова. Почти в одно и то же время они оба были вывезены из осажденного Ленинграда в эвакуацию, в Ташкент. Оба везли с собою начатые произведения: Ахматова — уже написанные три главы Поэмы, а Шостакович — законченные первые две части симфонии. Шостакович закончил Седьмую симфонию 27 декабря 1941 года. Ахматова закончила "Поэму без героя" 18 августа 1942 года.

Обратившись к "Свидетельству" Дмитрия Шостаковича, мы узнаем, что "Седьмая симфония планировалась до войны, и, следовательно, она просто не может рассматриваться как реакция на гитлеровскую атаку. Тема вторжения (в симфонии — И. Ч.) не имеет никакого отношения к нападению. Я думал о других врагах человечества, когда создавал эту тему". Композитор так определяет тему и причину создания симфонии: "Я глубоко страдаю о тех, кто был убит Гитлером, но я чувствую меньшую боль

за тех, кто был убит по сталинскому приказу. Я переживаю за каждого, подвергшегося пыткам, расстрелянного или замученного голодной смертью. Их было миллионы в нашей стране до начала войны... Это тема всех моих симфоний, начиная с Четвертой, включая Седьмую...”.

Итак, верно найденные когда-то критикой общие характеристики симфонии приобретают теперь иной смысловой оттенок. Седьмая симфония Шостаковича посвящена погибшим жертвам сталинского террора, а не жертвам войны. В этом и заключалась ее “тайна”.

Необходимость таить “Поэму без героя” от чужих глаз, сделать ее непонятной профану тоже была ясна заранее. Видимо, эта необходимость предопределила жанр, ритм и фактуру мистериозной, то есть спрятанной, “тайной” поэмы.

Автор “Поэмы без героя” требует погребения и возлияний для милого братнего тела. Но и автор симфонии требует памятника непоплаканным, непохороненным друзьям, миллионам своих сограждан. “Большинство моих симфоний, — писал Шостакович, — надгробный памятник. Чересчур много наших людей погибло и похоронено в неизвестном никому, даже ближайшим их родственникам, месте. Это случилось со многими моими друзьями. Где вы поставите памятник Мейерхольду и Тухачевскому? Только музыка может сделать это для них. Я бы хотел посвятить музыку каждой из жертв, но это невозможно, а поэтому я посвящаю музыку им всем”.

* * *

Побудительным примером для создания Седьмой симфонии был “Реквием” Ахматовой: “Ахматова написала свой Реквием, а Седьмая и Восьмая симфонии — мой реквием”. Если так, то можем ли мы предположить, что и “Поэма без героя” определенным образом связана с Седьмой симфонией?

Возможно ли, что создания поэта и композитора составляют единое, совместное произведение, посвященное памяти погибших друзей? Не есть ли “Поэма без героя” одна из составляющих трехчастного произведения “Реквием—Седьмая симфония—Поэма без героя”? И не указывает ли на это обстоятельство, обозначенное Ахматовой: “Триптих”?

Нам важно помнить, что для Ахматовой чрезвычайно существ-

венно было, что ее Поэму критики называли симфонией. Но симфония как музыкальный жанр есть четырехчастное произведение. "Поэма без героя" состоит из трех частей. Видимо, Ахматова понимала слово "симфония" в исконном смысле: по-гречески "симфония" — многогласное созвучие, гармония, согласие звуков.

Признавая Седьмую симфонию Ленинградской, Шостакович говорит: "Главные обвинения в пролитой крови обращены не к войне. В действительности, я не против того, чтобы Седьмая называлась Ленинградской симфонией. Но она не о Ленинграде во время осады, а о Ленинграде, который был разрушен Сталиным, а затем Гитлер просто завершил".

Следовательно, упоминание о Седьмой симфонии в "Поэме без героя" не случайно. Оно намерено. Оно связывает Поэму с предыдущей частью "общего" произведения, созданного поэтом и композитором. Вот почему так совпадали оценки первых читателей Поэмы с мнением самой Ахматовой. Упоминание о Седьмой симфонии в Эпиллоге имеет ту же значимость, что и появившееся после создания "Поэмы без героя" окончательное определение ее жанра — "Трагическая симфония".

И. Чечельницкая — литературовед, сотрудник университета Браун, живет в Бостоне.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва-Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

В МАСТЕРСКОЙ

Майя Каганская

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ АЛЕКСАНДРА ОКУНЯ

Саша Окунь — интереснейшее явление в нашей художественной жизни, я бы сказала даже: одно из самых в ней занятых приключений.

Каждая новая его выставка, сколько бы экспонатов она ни вмещала и сколько бы квадратных метров нежилой площади ни занимала, — похожа на главу из фантастической повести, и хочется, чтобы над выходом светились слова: “Продолжение следует”.

Экзотикой другого, иного, чем у всех, сознания и восприятия веет от его работ. Дело не в методе, не в приемах: сочетание плоскостных объектов с объектами трехмерными в современном искусстве — вещь легитимная. В сущности, в современной живописи все уже легитимно. Авангард стал понятием историческим — и давно.

Творчество же Александра Окуня — это, прежде всего, реализация его личного своеобразия. Чтобы дать представление об этом своеобразии, я попробую набросать “типовой проект” нашего современника, выходца из России, причем не обязательно живописца, а, так сказать, вообще интеллектуала с художественными потребностями и устоявшимися взглядами. Его главная примета — любовь и доверие к Средневековью: к русскому — в образе образа, то есть иконы, к европейскому — в смысле примата духовных, то есть религиозных представлений над живописными, да и вообще над любым жизненным материалом.

Да, — говорят они, — именно Средневековье, вот она — та идеальная эпоха, когда пластика была одушевлена высшей идеей, и искусство создавало то органическое единство духа и плоти, сознания и трансцендентальной материи сознания, которое было, есть и остается идеалом и задачей современной живописи и которого она, к несчастью, лишена...

Каждому ясно, что объект полемики в таких рассуждениях — это Ренессанс: с него-то, по распространенному мнению, и началась деградация живописца в художника и человека, веры — в культуру. То, что отцы-основатели этого “самого передового мировоз-

зрения” — русские религиозные философы с о. Флоренским во главе, — понятно само собой и в доказательствах не нуждается. Занято другое: среди русских евреев, “обратившихся к ответу”, одному на все вопросы, в том числе и не заданные, в том числе и среди художников и художественно чувствующих натур, я не встречала практически ни одного, кто при слове “Средневековье” не вздрагивал бы гордо, как казачий конь при слове “Жид”. Атака на меня начинается с ходу, поскольку в моей интонационной системе Средневековье не сопровождается дрожью преклонения и восторга.

Еврейское Средневековье, как, впрочем, и любая другая эпоха нашей истории, не имело своей пластической культуры. Но, в силу вполне понятного психического сродства и культурного инстинкта, наши “новообретшие” своими кистями и палитрами раскрашивают “столп и утверждение истины”.

Так вот: в этой черно-белой “средневековой” толпе Саша Окунь — единственный человек Ренессанса. У каждого человека, тем более художника, кроме его наличной или исторической родины, существует еще одна — родина духа, искусства, призвания, ремесла. Родина Саши Окуня — Италия. Он — гуманист. Понятно, что слово это я употребляю не в его современном значении — доброта, миролюбие, милосердие, права человека и т. п., и т. п., — а в ренессансном.

Гуманизм, как его понимали когда-то на истинной родине Окуня, — это особое пластическое отношение к Слову и, понятно, — словесное, интеллектуальное отношение к пластике. Оттого в своих композициях и полотнах Саша Окунь отчетливо литературен.

И здесь необходимо сказать кое-что по поводу наших устоявшихся взглядов на взаимоотношения живописи и литературы. Эти взгляды, которые мы вывезли из России вместе с детскими воспоминаниями, о. Флоренским и желанием прильнуть к вере наших отцов, сводятся к тому, что живопись и литература не только не “близнецы-братья”, даже не “братья-враги”, но вообще не родственники. Капля никотина убивает кролика, а капля литературы — художника (пример: “передвижники”), потому что живопись — это “особый язык”, понятный одним и недоступный другим.

Но даже в нашем “передвижном” детстве мы знавали художника, который из этой прогрессивной схемы выламывался: Вру-

бель. Иллюстратор Лермонтова, пожизненный пленник русской романтической литературы, оставивший иконографию Демона, — он был превосходный живописец. Дело не в том, что литература, а в том — какая. Современный художник — это ведь и современный человек, а для современного человека (интеллигента) литературные переживания почти решающие. Поэтому я не стала бы так уж издеваться и над формулой эпохи передвижников: “Литература — учебник жизни”. Если вы учились, скажем, “по Марселю Прусту”, вы и ваша жизнь будете сильно отличаться от жизни и личности выпускника яснополянской школы.

Но в небанальном случае Саши Окуня речь идет даже не о литературном источнике вдохновения или “воспитания чувств”, но о жанре литературы. Она просматривается в его работах, прежде всего, как отчетливо ощущаемая фабула, розыгрыш, ирония, пародия, драматический набросок или цирковая реприза. При всей живописной, почти лубочной красочности его композиций, они требуют особого склада интеллекта, который я и называю гуманистическим: ироническое разыгрывание объекта заведомо сакрального, иконического (иконостас, в который, вместо икон, вставлены рыбы, куры, дыни и евреи), — и сакрализация объекта, заведомо профанического (рыбы, куры, дыни и евреи, вставленные в иконостас вместо икон).

Саша Окунь художник не только потому, что он живописец: его отношение к действительности — это отношение творца к материалу, актера — к роли, писателя — к слову. И здесь, особенно в связи с его работами и исканиями последних лет, возникает проблема, которую я назвала бы еврейской вообще и израильской в особенности. Потому что, повторяю, сам его метод — сочетание плоскости с объемом, живописного сюжета с театрализованной фабулой общей композиции — не новость. Я помню в Париже, например, увлекательный и блестящий “непередвижной” театр Раймона Моретти, где скульптура, абстрактная живопись и конкретная музыка были призваны передать — и действительно передавали — горькое и сумрачное отношение художника к месту и веку его проживания.

Когда я говорю об еврейско-израильской проблематике работ Окуня, я имею в виду не только их темы и материал, но и контекст, то живое пространство, в котором мы все присутствуем и от которого страдаем. Страдаем от пластической, художественной и словесной пустынности Израиля, его культурной немоты

и невыраженности. Современный человек живет в культуре. За ее пределами начинается не "Природа", а — пустота, небытие, потому, что "природа" — это только оппозиция "культуре". И что бы там не лепетали новоявленные "руссоисты" и "почвенники" о себе я откровенно заявляю: единственные поля, которые я люблю, — это Елисейские, а единственный лес — Булонский.

...В Париже на вопрос о погоде часто отвечают: "Марке", что соответствует, с одной стороны, такому метеорологическому сообщению — "Низкая облачность, местами — осадки", а с другой — серо-жемчужным, морозящим полотнам Андре Марке. Предельная краткость сообщения при полной его информативности. Культура, ставшая природой...

Ничего этого в Израиле нет. Камни и прилагаемые к ним религиозные предания не соприкасаются с нашим глазом, воспитанным живописью, и нашим психологическим опытом, замешанным на литературе. Израилю сильно повезло, что как государство он родился во второй половине XX века, когда во всей пластической культуре произошел такой слом, что самый ортодоксальный еврей может не содрогаясь проходить мимо "скульптур", которыми украшены наши города. Они не задевают ни религиозных, ни эстетических чувств. Так... предметы, объекты, а не, слава тебе, Господи! — "образы" или хотя бы "подобия".

Мне кажется, что Сашей Окунем движет не только общий современному искусству дух скитаний "по второму кругу", но и общее всем нам желание "колонизировать" и "заселить" Израиль — образом, цветом, символом, знаком, короче — собой.

Окунь "переписывает" рынок, улицы, людей, их позы, голоса, которыми они молчат...

Поразительна одна из композиций Окуня, на грунтовку которой пошли крышки от йогурта с надписями "Гиль", "Эшель", "Эшед", обрывки израильских газет и фрагменты пластиковых мешков для мусора... И весь этот хлам, отход, макулатура переливается золотом, отликает серебром, как чешуя Левиафана, подаренного на последнем в мире пасхальном седере.

В сущности, Саша Окунь делает то, что веками делала европейская живопись на другом материале, но с теми же целями: он приручает бесплодную, неблагодарную, да и некрасивую пустыню — безвидную и пустую землю бытия, чтобы превратить ее в человеческое и только человеческое искусство жизни. И если Израилю суждена — во что я верю — долгая жизнь, то точно так же, как

в парижском климате сохранились пейзажи Марке, кафе Дега и фруктовые ряды Сезанна, — так Израиль через сто лет скажет о своих залитых старинным асфальтом площадях, рынках под открытым небом и уцелевших переулках: это Окунь.

В конце концов: проза — это не вытянутые в строчку унылые повествования о дядях Ванях и тетях Манях, родственниках и знакомых, растянутые на сотни страниц сплетни, анекдоты и доносы, с их подслушанными репликами и подсмотренными сценами из частной жизни...

Господина Журдена обманули — он никогда не говорил прозой. Прозой не говорят, даже не думают. Прозу — придумывают. Как в композициях Саши Окуня.

Майя Каганская — литературовед и эссеист, лауреат премии им. Р. Н. Этингера и других, автор (совм. с З. Бар-Селлой) книги "Мастер Гамбс и Маргарита", многочисленных эссе в "22" и других русскоязычных журналах и литературно-публицистических статей в израильской периодике.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ЛЮДИ И КНИГИ

Яков Ашкенази

СУДНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ДОГАДАЙСЯ, МОЛ, САМА

Однако, до чего же полезно советским писателям ездить за границу! Такие просторы открываются для описаний всех этих роскошных лимузинов, огромных зданий, "сверкающих под лучами солнца", и всего такого прочего, что делает их романы, одетыми... Не скажем, "по фирме", боясь обвинений в пристрастии к арготизмам. Но скажем, что их романы стали выглядеть, будто одевались в "Березке".

В одной такой загранице родился и вырос в эмигрантской семье Ефим Байкалов, герой романа Виктора Иванова "Судный день" ("Наш современник", №№ 4–6, 1988). Выросши, герой романа оказывается в шпионской школе, которой руководит профессор Туркулов. О Туркулове, о его школе, о его взглядах и о происхождении его принципов мы поговорим позже. Нам важно отметить сейчас, что, как догадывается читатель, герой романа таковым же условным, как и заграница, описанная там же. В этом условном Советском Союзе условный герой успешно, как говорят разведчики и шпионы, внедряется. Но жизнь в этом условном Советском Союзе такова, что герой, как говорят контрразведчики, морально разоружается. Он отказывается от прежних, человеконенавистнических взглядов (они сочетаются у него с глубокой религиозностью!) и принимают мораль того Советского Союза, в котором оказался. Надо думать, что и от своей религиозности герой тоже отказался, поскольку кончает жизнь самоубийством.

Автор и не скрывает условности всех описываемых ситуаций. Он предваряет читателя такой сноской: "Роман — не научное исследование, поэтому сразу предупреждаю, что имена большинства персонажей, события, названия организаций и т. д. — вымышлены; возможные совпадения — случайны". Похоже, что автор чего-то боится...

Теперь поговорим о Туркулове, о его взглядах-принципах, о его шпионской школе и о "русском Париже".

После первой мировой войны "случилось непостижимое для неискушенного человека. Каким-то тайным образом... под Парижем... образовался своего рода вакуум. Застыли фабричные трубы, остановились предприятия, опустели мрачные трущобы... Русская послереволюционная эмиграция... хлынула в этот своеобразный вакуум — заполнить пустоту".

Как много таинственного в этом слегка сокращенном нами пассаже! Даже искушенный автор Виктор Иванов доподлинно не знает причин такого социально-экономического явления. Он вместе с читателем может только догадываться и недоумевать: "Какой тайный разум, глядя далеко вперед, все это наметил и организовал? Какая цель преследовалась?" — спрашивает он, не скрывая восхищения.

Но тайны для того и существуют, чтобы их раскрывать. И автор их раскрывает. Он рассказывает, как бывший врангелевский генерал Туркулов и его сын однажды, до отказа набив сумки отбросами и огрызками на парижском рынке, "оживленные и радостные, шагали по улице". Некий незнакомец — "худенький, личико серое, с черной козьей бородкой. Узкий лоб прикрывала шляпа. Темные массивные очки." — окликнул генерала. При этом незнакомец снимает очки и перед читателем предстает его подлинное лицо: "Глаза у него были большие, черные, слегка выпуклые".

Кто бы это мог быть? Жаль, что автор не описал губы и нос. Некто был безгубый и безносый.

Генерал Туркулов пропадал три дня. А когда пришел домой, все и раскрылось.

"Меня приняли в общество вольных каменщиков, — сказал он тихо".

Так вот кто был безгубый и безносый с выпуклыми глазами! Где-то в этом месте автор делает еще одну осторожную сноску: "Еще раз напоминаю, что события вымышленные".

Жизнь генеральской семьи изменилась. Они поселились в особняке, У генеральши появились вечерние туалеты, меха, бриллианты. У генерала — коньяки, вина.

Формально генерал занимался тем, что засылал в Советский Союз шпионско-террористические группы. Но "сына генерал посвящал во все тайны". Так он раскрыл сыну, что шпионско-террористические группы, которые постоянно проваливались, "это метод защиты. Главное — скрыть от мира, что существует и действует некое "ядро", задача которого, как я понимаю, — внедрение в любую страну".

В своем дневнике генерал Туркулов записывает строки, с ошибками выписанные Виктором Ивановым из какого-то пособия по масонству. Из этих строк следует, что подданные царя Соломона "в строительстве ничего не смыслили, поэтому он призвал на помощь людей из разных арийских племен, которые заселили просторы вокруг". Сам же царь, положив начало масонству, решил, что фундамент этого сооружения "должен состоять из представителей его народа".

Догадался ли читатель, какой нации безгубый и безносый незнакомец? Понятно ли, кто создал в предместье французской столицы тот таинственный социально-экономический вакуум, в котором образовался "русский Париж"?

Ко всему этому генерал относится с искренним отвращением, но, опасаясь, что его "подвергнут физической смерти", продолжает служить своим хозяевам, а затем и сына приобщает к своей деятельности. Генеральский сын оказался не так прост, как отец, и стал профессором, руководителем шпионского Центра где-то в районе реки Сакраменто.

В качестве профессора генеральский сын создал свою теорию, которую он изложил советологу Авторову, "тоже профессору". Основные тезисы этой теории подслушал Ефим Байкалов, герой романа. Подслушанный разговор "крупнейших советологов" в изложении Виктора Иванова выглядит, примерно, так.

"— Бездоказательно болтаем, что у них нет Советов, нет законности,

будто это тоталитарное государство. А ведь это не так”, — говорит профессор Туркулов.

“Тоже профессор” резонно возражает:

“ — Да так, именно так!”

И тогда профессор Туркулов кладет свою тяжелую руку на хрупкое плечо “тоже профессора” и поучительно говорит:

“— Если хотите уничтожить талант художника, не критикуйте, но слепо (! — Я. А.) возвышайте, хвалите его работы. Чем выше поднимете, тем вернее будет удар... Возвеличивать их всех там — отныне главное наше оружие”.

Затем автор описывает “виноградники, униженные тяжелыми гроздьями”, а герой романа продолжает подслушивать.

Туркулов не собирается проникать туда, где строят военный завод. “Пусть строят, как можно больше — скорее задохнутся”, — говорит он. Планы его иные: изменить окружающую среду так, “чтобы формировалась нужная нам душа человеческая — вот наша задача!”.

Далее следует почти цитата из “Протоколов сионских мудрецов”: “Главное — вселиться к ним... Проникнуть в редакции, а также в кино, радио, телевидение, народный суд, прокуратуру, милицию, учебные заведения... Просочиться и во все иные государственные органы”.

Читатель понимает, что планы профессора как бы описывают и объясняют ситуацию так называемого периода застоя: “Мы начинаем ломать их порядки, создавать толкучку, неразбериху, насаждать национальную рознь, неприязнь, ...вызывать чувство протеста к существующему строю, ...возвышаем руководителя, он упивается дутым величием, ...у народа появляется к нему недоверие и враждебность”.

“Ага!” — воскликнет в этом месте неискушенный, но догадливый читатель.

“Протоколы сионских мудрецов” не единственный источник вдохновения профессора Туркулова. Он использует еще и древний “Домострой”. По его мнению, “крепкая семья там, где властвует мужчина. Едва женщина придет к власти в семье — семья разваливается”. Вложив эти слова в предательские уста врага человечества и женщин, автор романа сразу привлек на свою сторону мощное феминистское движение со всей его разветвленной по всему миру сетью. И тем обезопасил себя, поскольку в романе больше не попадают осторожные сноски.

Ну и так далее. По Туркулову, униженные советские мужчины начинают пить и разводиться, ломая прочные советские семьи, “первоосновные ячейки государства”. Победительницы-женщины, разведясь, затягивают в свою среду подруг, а их дочери занимаются проституцией. Тем временем создается общественное мнение, что нужно продавать побольше нефти. Когда нефть кончится — “мы возьмем их, обессиленных, тепленькими”.

У Туркулова предусмотрено и диссидентское движение в Советском Союзе (“второстепенные, дешево купленные люди”), и фонд помощи политзаключенным, и лозунг о свободе личности: “на поверхности — успешно создавать шумиху о нарушении прав человека, а в глубине — вторгаться к ним и разрушать их единство”. Есть у него соображения насчет советского рубля. Ему, чтобы победить, требуются миллиарды рублей. Где взять? И вот здесь ему помогут те самые, чьи представители составляют фундамент

масонства: “Будем соблазнять людей на выезд, организуем сеть тайных касс. “Товарищ” продает машину, гараж, кооперативную квартиру, все недвижимое имущество. Сотню тысяч сдает в тайную кассу и выезжает, а здесь получает долларами в три-пять раз больше”.

Догадливому читателю теперь все ясно, он внимательно следит заключениями героя романа. Проникнув в Советский Союз способом, который в России до сих пор, кажется, называется “поехать в Москву через Архангельск”, Ефим Байкалов идет на явки. Хозяином одной из них оказывается давний агент Туркуловых, женатый, “как и велено было”, на Берте Яковлевне. Само собой, что Берта Яковлевна морально оказывается не на уровне. Но она благодарна Советской власти за то, что “надежно загородила от всяких бед” ее семью. Собираясь выдать агента, Берта Яковлевна погибает, верностью своей и смертью своей искупив вину своего подозрительного происхождения.

Герой романа успешно внедряется в Советский Союз. Со своими помощниками он распространяет порнографические открытки. Собирается печатать Библию и книгу профессора-советолога Авторова “Технология диктатора”. Эти книги должны разложить советское общество окончательно и сделать его бессильным перед Судным днем, который грядет.

Сын Берты Яковлевны — поэт, но поэт плохой. Он пишет патриотические стихи, распинается в любви к России. Но стихи его дурны, фальшивы, деревянны. Еще раз сказав “ага!”, догадливый читатель поймет, что стихи дурны, потому что их пишет сын Берты Яковлевны. Вместе с ним герой романа спаивает и губит талантливого русского поэта Колосова.

Так и продолжалась бы разлагающая деятельность Ефима Байкалова, если б не любовь. Там, в загранице у него остались жена и сын. Но ввиду конспиративных надобностей он женится на русской девушке Наташе. Любя Наташу, он внимательнее смотрит на окружающую его жизнь Советского Союза. “Вот пожил здесь, узнал получше людей”, — говорит он своему коллеге, агенту Клунному.

В этом романно-условном Советском Союзе люди любят друг друга, как братья. Они бескорыстны, почти не пьют, едят национальные русские блюда, трудятся, потому что любят работать. О них заботится Советская власть, а они преданы Советской власти и тоже заботятся о ней. Они возмущены недостатками, но (как и автор романа) уверены, что причина недостатков — вражеские агенты и их прямые и косвенные пособники. Советские люди живут на фоне прекрасных пейзажей, которые вызывают у них патриотические чувства и которые автор романа старается красиво описать. Эти пейзажи согласуются с настроениями советских людей (на них часто “находит радужное настроение”) и всегда контрастирует с настроениями врагов.

Агент Клунный знает: придет время, и “страна, особенно русские области, стратегически будут поставлены под угрозу мощного затопления густонаселенных районов”. Но это еще не все! “Загадочно-зловещим тоном” Клунный произносит: “Это все цветочки, ягодки-то впереди!”.

“Что же будет? — спрашивает себя искушенный читатель. — Судный день — это... Так значит?... Неужели?... Так вот оно что!..”.

Грядет Судный день, и вся надежда советских людей, по Виктору

Иванову, на то, что "придет мудрый правитель, проснется самосознание народа или бюрократы вымрут, как мамонты". Агент Клунный слегка выдает тайну: "Ты пойми, Советы идут непроторенным путем, всякие загибы и отклонения возможны".

"Не намек ли это на перестройку? — спрашивает читатель, Клунный на этот вопрос не ответил и "молча растаял в плотной слякотной тьме".

Не сумел на этот вопрос неискушенного читателя ответить и Виктор Иванов и с досады убил своего героя.

Таков роман "Судный день". Догадается ли кто-нибудь, что опубликовавшие это сочинение поступили вполне в духе теорий профессора Туркулова — не критиковали Виктора Иванова, слепо возвышали его, хвалили его работу, высоко подняли его, чтобы вернее был удар?

Михаил Хейфец

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Что надо выяснить во времени?

(Ш. Шехтер. "Время, задержанное до выяснения", изд-во "Карсов", Лондон, 1988)

Я очень мало знаю о польском писателе Шимоне Шехтере. Знаю, что родился во Львове, в еврейской семье, отлично знал русский язык, имел превосходный литературный вкус — ибо иным я не могу представить себе писателя, переведшего на польский "Москву-Петушки" Венедикта Ерофеева и "Апофеоз беспочвенности" Льва Шестова; догадываюсь, что был он коммунистом, что, как многие, бежал (или был изгнан) из Польши, любил и знал историю и умер в Лондоне пять лет назад. Но вот попала мне в руки его повесть-сказка "Время, задержанное до выяснения" — и вдруг я почувствовал, что где-то в Варшаве и Лондоне жил близкий мне человек, с которым не довелось встретиться, но после писателя остаются книги — и потому наконец можно с ним поговорить о том, что нас обоих волнует...

Странная это повесть для русского читателя. Очень польская — по форме, по духу, по стилю. Она рождена в той стране, где родился театр абсурда, она иллюстрирована художником Андреем Краузе все в том же абсурдистском духе и посвящена она — абсурду. Но это абсурд самой жизни, и содержание книги не бессмысленно, а напротив затрагивает, по моему ощущению, важнейшие проблемы существования — во всяком случае, еврейского.

Дело в том, что я принадлежу к тем евреям, которые не склонны несчастью национальной судьбы сваливать на злых "гоим", а себя почитать такой несчастной овечкой или игрушкой в чужих руках. Во всяком случае, в XX веке! Наоборот, мне близка мысль Ханны Арендт, что евреи в нашем столетии были равноправными участниками исторических игр народов и чудовищная Катастрофа, обрушившаяся на них, была следствием

не только злобных умыслов врагов человечества, но и огромных роковых просчетов самого еврейства, его лидеров и активистов.

Один из читателей, некто Хенек Рубин, назвал эту книгу "очной ставкой выдающегося польского писателя и партийного активиста со своим еврейским детством". На самом деле, это скорее монолог такого писателя и активиста, пытающегося мысленно, в своем писательском воображении, прожить свою жизнь заново, что-то в ней исправить: в детстве стать героем двора, писающем дальше всех (что для малолетних обитателей этого двора было признаком особой силы и гордости), во взрослом состоянии достичь заветного поста секретаря Союза писателей, стать любимцем секретаря ЦК и в то же время написать "настоящую книгу" — так сказать, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Этаким польский Валентин Катаев, хотя и без катаевского таланта, но с теми же претензиями!

Отсюда и смысл названия: герой мимикрирует под партийного писателя и под поляка Поточка, хотя на самом деле он еврей Гиршфельд: он надеется, что благодаря этой мимикрии ему удастся остановить время (ведь что такое "партийное время", как нам теперь даже официально объяснили? Оно называется "застоем", то есть остановкой времени), но он понимает, что навсегда остановить время нельзя, и просто надеется, что оно будет стоять до тех пор, пока начальство не успеет выяснить, что он-то — не поляк, а еврей, а до тех пор "настоящая книга" будет написана. В конце выясняется, что время останавливать было незачем, потому что начальство-то с самого начала знало, что Юзеф Поточек есть Юзек Гиршфельд, просто закрывало глаза и награждало верного слугу доверием, а книги не будет никогда, ни до какого выяснения — ибо герой был таким ничтожеством, что, и укрываясь от начальства, он все время слышит его голос (таким "голосом" служит в повести образ Критика, вмешивающегося в творческий процесс писателя в самые интимные его минуты) — и обречен этим голосом на вечное творческое бесплодие.

Читая эту книгу, я, как ни странно, все время думал, насколько мы, русские евреи, были счастливее евреев польских. Как бы мы ни ругали царские и петлюровские погромы, антисемитизм, сталинскую кадровую политику, мы всегда жили в атмосфере, созданной российской интеллигенцией, при которой антисемитом быть позорно, и хотя антисемитизм возможен и даже постоянно наличествует в стране, но не только признаться, даже назвать его по имени — стыдно. Даже товарищ Щербаков в своих антисемитских постановлениях все-таки пытался их обосновать чуть ли не заботой о евреях! Даже члены общества "Память" клянутся, что они вовсе не антисемиты, а только антисионисты. Тогда как в Польше антисемитизм был открытым и откровенным кредо для довоенных эндеков и энэровцев, отталкивая евреев либо в гетто, либо в коммунизм, и зло порождало зло, потому что при немцах кандидаты в газовые камеры под номером два, то есть поляки, невольно ощущали общность со своими палачами, хоть в чем-то, хоть в неприязни к евреям, а это унижало и коверкало психику нации и подготавливало приход коммунистического режима с еврейскими извергами из УБД! Круговорот зла в обществе... "Мы — пациенты сумасшедшего дома, — писал по этому поводу Шехтер, — пациенты необычные, потому что пытаемся (снова и снова и все на один и тот же манер) исцелить себя сами".

Пациенты-евреи из этого дурдома, именуемого человеческим обществом, склонны к двум видам заболеваний. Одни ломаются и становятся тряпичными куклами, вроде Поточка, героя повести, полуевреями-полуполяками, лакеями, пресмыкающимися перед партией — Шехтер называет это тихим помешательством. Другие “обязываются гранатами и бросаются под танки или убивают пассажиров в аэропорту (все равно кого)” — это помешательство буйное (“я испытал буйное помешательство — ведь я был коммунистом”). Есть, правда, еще третьи — они становятся оппозиционерами, угрожающе шипящими и тут же разбегающимися после первой угрозы властей, но продолжающими гоготать — их Шехтер называет “гоготунами”. Все эти разновидности вызывают у него презрение, хотя он отлично видит и умеет изобразить ту гнусную атмосферу польского дурдома, что эндековского, что гомулковского, в котором этих уродов высиживают. Просто в его глазах условия дурдома не оправдывают пациентов — ведь они не только пациенты, но и врачи для самих себя. И потому несут ответственность за ситуацию в своей национальной палате наравне с “медперсоналом”, то есть партией.

Тем более, что и в партии, и в ее, говоря по-русски, катаевской службе он видит важную общую черту: основной целью для тех и других является наслаждение властью — и с этой именно целью и партия, и ее интеллектуальные холуи задерживают время “до выяснения”. Хозяева наслаждаются реальной властью (в частности, над поточками), а поточки, катаевы испытывают наслаждение от обладания властью над историей, над временем, для которого они как бы заносят события их эпохи на “скрижали”. Шехтер называет это наслаждение мнимой властью “мастурбированием духа”, тем более что главным признаком достижения цели для подобных “творцов” служит получение Государственной премии в области “культуры”.

Характерным для автора — в соответствии с этой концепцией — является и отношение к антисемитской кампании в Польше в марте 1968 года, которой, по существу, завершается книга. Разумеется, только снисходительное презрение вызывают у него “руководители партии” и их национально-польская обслуга, организаторы и зрители этого постыдного эпизода польской истории. Но и жертвы (Поточек, как и полагается слуге партии, выполняет ее последнюю волю и в финале повести подает документы на выезд из ПНР) не вызывают его сочувствия. “Ну, что ж, я считаю, что каждый хозяин имеет право вышвырнуть своего слугу, если почему-либо им недоволен. А профсоюза лакеев, который бы защищал их от несправедливых хозяев, нет. И уж я-то не намерен способствовать возникновению таких профсоюзов, которые бы защищали ничтожные права ничтожных поточков, все равно, кто они — евреи или нет”.

Сам автор гордится тем, что в его повести “есть нечто от еврейского анекдота, ибо самые лучшие анекдоты — еврейские, если они рассказываются самими евреями и повествуют о евреях, которые смеются над евреями же”. Во всяком случае, писать он старался именно в таком ключе. И если вы любите эту тональность современной прозы, вы с удовольствием прочтете его “сказку” о тряпичной душе, о ничтожестве, который жил и работал “инженером человеческих душ”.

Размышления над еврейско-русской судьбой

Ф. Кандель. "Очерки истории русского еврейства", Иерусалим, 1988)

Известный прозаик Феликс Кандель выпустил книгу очерков, посвященных истории (точнее сказать, предистории) российских евреев.

Поскольку сам автор рассматривал свое сочинение как популяризаторскую работу, в ней нет открытий, или неизвестных специалистам исторических сюжетов, или полемики с какими-нибудь авторитетами, хотя "проницательному читателю" (как называл его Чернышевский) ясно: у Канделя есть собственная точка зрения на некоторые спорные вопросы еврейской истории и уж безусловно имеется собственная авторская концепция, легшая в основу и отбора исторического материала, и истолкования его.

В краткой рецензии мне не хочется излагать содержание исторических сюжетов книги, и я ограничусь лишь тем, что поделюсь некоторыми мыслями, родившимися при ее чтении.

Принцип, положенный автором в основу отбора материала, — история страданий еврейского народа и его духовной реакции на невыносимые вековые преследования. Что ж, возразить нечего, история евреев, живших на территории, вошедшей в итоге в состав Российской империи, действительно полна страданий, мужества, цепкости в противостоянии судьбе. Но если честно признаться, именно эта сторона их жизни наиболее всем известна. Мне же не хватает, пожалуй, другой стороны той же истории — еврейских успехов, созидания, практической деятельности. Вот, например, исключительно ярко, с художественной силой, отличающей Канделя-писателя, описано массовое уничтожение евреев во времена крестовых походов: истребление безоружных еврейских общин, вопреки защите феодалов и епископов, или поголовные их изгнания, которые, как правило, завершаются (причем очень скоро) новыми декретами — о возвращении евреев на прежние места. Неразъясненным, однако, осталось одно, но зато принципиальное обстоятельство: что именно такое делали евреи в средневековых городах, из-за чего местные сюзерены и городские общины, даже обрушив на них погром или изгнание, вскоре вынуждены были приглашать изгнанников обратно? Ведь только сознание жизненной необходимости еврейства для местного процветания могло вынудить их на такой шаг. Правда, Кандель упоминает, что евреи были важнейшим источником обогащения королевской казны. Ну, а богатства-то эти откуда у них появлялись? Мы знаем, что деньги, согласно законам классической политэкономии, есть эквивалент труда, накопленного в товарах. Следовательно, большие деньги могут накопиться, либо будучи отобранными у тружеников с помощью насилия (представителями власти или завоевателями, например), либо там, где их (денег) обладателями было вложено большое количество труда. Так вот, какой именно труд был вложен евреями в хозяйство тех стран, где они жили? Видимо, это был жизненно необходимый труд, если изгнав евреев, их вынуждены были приглашать снова. Но именно этой стороне их жизни Кандель уделил минимум внимания.

Поясню свою мысль. Историк, например, советского периода еврейской

жизни может описать дискриминацию евреев, их борьбу за свои права — и это будут поучительные и важные страницы истории народа. Но если такой историк оставит вне внимания всю ту деятельность, которой этот народ занимался в СССР, то его читатель, возможно, будет недоумевать: а собственно, почему советские власти так долго не хотели выпустать своих евреев? Почему ставили палки в колеса эмиграции столь нелюбимого ими нацменьшинства? И заодно — почему, в конечном итоге, выезд евреев совпал по времени с тем катастрофическим упадком советского хозяйства, который теперь деликатно именуют “застоем”?

Другая мысль, порожденная книгой, связана с вышеприведенной: мысль, что антисемитизм, как политика, всегда напрямую связан с опасным кризисом в жизни того или иного общества. Если евреи являлись необходимым элементом правильно функционирующего хозяйства той или иной страны, то попытки их устранения служили как бы индикатором надвигавшегося неблагополучия, разлада и развала этого хозяйства. Кандель ярко, по-писательски излагает события, связанные с историей изгнания евреев — из Германии в Польшу, из Польши на Украину, с Украины обратно в Польшу и Германию. А историк, читающий его описания, не может не припомнить при этом, что изгнание евреев из Германии совпало с огромным ослаблением ее роли в Европе (и наоборот, с расцветом Польского королевства, постепенно ставшего великой державой тогдашнего мира); что вытеснение евреев из Польши на Украину положило начало тем процессам, которые привели к ослаблению Польского королевства и к его судьбоносным поражениям от казацких войск, вычеркнувшим, в итоге, это государство из списка суверенных держав; что чудовищные погромы и изгнания времен Хмельницкого завершились катастрофическим упадком не только украинского хозяйства, но и самого украинского “коренного” общества. Я отнюдь не хочу сказать: мол, вот, изгнали евреев и жить без них не смогли... Как раз напротив: я думаю, что изгнание евреев было предвестником, симптомом уже назревшего и глубокого национального кризиса, кризиса общественного сознания, морали, правопорядка. Изгнание (или уничтожение) евреев являлось как бы попыткой большого общества избавиться от своих страданий с помощью “болеутоляющего” лекарства. Когда же евреи, наконец, исчезали из страны, выяснялось, что истоки национальной болезни коренятся вовсе не в них, — но время уже было упущено, внимание народа и его руководителей уже было отвлечено от подлинной заразы на экзотически-яркие, внешне чуждые и бросающиеся в глаза лики иноверцев. И местное общество, разложенное и обессиленное этой бессмысленной и по сути вредной для него ксенофобией, не находило в себе сил, чтобы противостоять этому кризису, захлестывающему страну с губительной, подчас смертоносной мощью.

В чем же все-таки причина этой самоубийственной ксенофобии, этой вековой ненависти и отталкивания от евреев в коренных общинах — вопреки собственным национальным интересам? (Я, разумеется, пропускаю совершенно очевидные отрицательные психологические реакции на иноверцев и людей особой ментальности, раздражающие коренную общину). Кандель отмечает интересный факт: демографический. В еврейских семьях, в силу принятых ими религиозных предписаний, была высокая по тем временам

рождаемость; благодаря опять-таки более высокому уровню обычной гигиены (что тоже объяснялось детально разработанными в религиозных установлениях правилами мытья рук, диеты, кашрута и пр.) смертность тоже была меньше обычной; и, наконец, что очень важно — евреев не вербовали в войска, и поэтому они не гибли в боях. В результате, когда мирный и благополучный период в той или иной стране длился достаточно долго, численность евреев взрывообразно возрастала настолько, что это вызывало у коренного населения инстинктивный страх перед потенциальным преобладанием чужеродной общины. Кандель упоминает, что в истории Польско-Литовского государства был период, когда евреи составляли в нем восьмую часть населения! Причем это — по всей территории, а ведь евреи распределялись, конечно, неравномерно и даже напротив — сплачивались вокруг единоверцев; следовательно, в стране появлялись регионы, где они грозили стать реальным большинством. А такая демографическая ситуация, как известно, и в более цивилизованном обществе XX века вызывает настроения “трансфера”...

Все мои замечания нужно рассматривать, как комплимент автору: если читатель начинает размышлять над новыми, не затронутыми им проблемами, если его невольно тянет поставить новые вопросы и “влезть” в материал поглубже — значит, автор исторической книги достиг настоящего успеха. Этой оценкой книги Ф. Канделя мне бы и хотелось завершить эту краткую рецензию.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

Новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. “ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ”

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы “поучительным чтением для взрослых мизантропов”. Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: “Moscow—Jerusalem”, P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.
Телефон редакции – 103/394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 80 шек., для организаций – 90 шек., за рубежом – 60 долл. (авиапочтой в Европу – 72, в США – 77 долл.), для организаций – 75 долл.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала (фамилия)

